

Вера ЗУБАРЕВА

ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Повесть в рассказах

Ритке

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Рослая девочка с толстой косой и белым бантом, стоящая на возвышении, — это я. А та малютка, что совершенно в противоположном конце на нижней ступеньке с волосами, заплетенными в корзинку, — Ритка. Предание гласит, что поначалу нас поставили рядом, но я заслоняла ее, и когда Ритка попыталась выдвинуться вперед, по наущению своей старшей сестры, я попросту отодвинула ее в сторону, чтобы не мешала. Такого безобразия ее старшая сестра вынести не могла и увела Ритку от меня подальше. Так она оказалась в противоположном конце лестницы, на которой нас расположили для снимка в первый день нашего пребывания в школе.

Тем не менее расстояние между нами постепенно сокращалось, и уже без всякого на то вмешательства со стороны. Со стороны были только препятствия. Но их мы благополучно преодолели. А что касается вмешательства свыше, то оно оказалось благотворным.

У каждой из нас была своя версия сближения. Ритка считала, что первопричиной была Оливия Хасси, сыгравшая Джульетту в нашумевшем фильме Франко Дзефирелли. Каждая школьница хотела быть на нее похожей, а Ритка на нее здорово смахивала. Возможно, этот момент сыграл какую-то первичную роль, но его было явно недостаточно. И как факт, когда Ритка сделала себе стрижку, в корне изменив образ, это не прервало наши отношения. Даже наоборот. Длина волос оказалась обратно пропорциональной росту дружбы.

В десятом классе на Риткин день рождения я посвятила ей песню. Это были дни окончания школы, смутное время, многое было поставлено под вопрос: привязанности, дружбы, память. Сохранится ли накопленное годами или канет в Лету, как сон или беглые воспоминания?

Передо мной выпускной снимок. Кто его сделал? Явно не профессиональный фотограф. Нет той строгой композиции, что на первом фото, нет цветов и команды смотреть на снимающего. Мы просто сгрудились на тех же ступенях, будто только что вышли после последнего звонка, кто с кем был. Вот Риткин бант мелькает над моей

Вера Кимовна Зубарева — Ph. D. Автор литературоведческих монографий, книг стихов и прозы. Первая книга стихов вышла с предисловием Беллы Ахмадулиной. Публикации в журналах «Арион», «Вопросы литературы», «Дети Ра», «Дружба народов», «Зарубежные записки», «Знамя», «Интерпоэзия», «Нева», «Новый мир», «Новый журнал» и др. Главный редактор журнала «Гостиная», президент Объединения русских литераторов Америки (ОРЛИТА). Лауреат Международной премии им. Беллы Ахмадулиной (2012), Муниципальной премии им. Константина Паустовского (2010) и других престижных международных литературных премий.

головой — она явно стоит на ступеньку выше в самом верхнем ряду у входа в школу, и голова ее повернута в сторону женщин, входящих вовнутрь с детьми. Не стоит труда догадаться, о чем Ритка подумала в тот момент...

Рядом с Риткой — Сабоня. Он высится прямо надо мной, так что получается, будто я фотографируюсь на его фоне, хотя я и не подозревала, что он находился у меня за спиной. Его теневая позиция по отношению ко мне была лейтмотивом наших расплывчатых школьных отношений. Фотограф, наверное, поставил бы нас рядом, но правда жизни одержала верх и навсегда запечатлелась в нестройной композиции этого последнего снимка.

Но что сразу бросается в глаза даже стороннему наблюдателю, так это не кто где стоит, а то общее выражение печали, почти подавленности, которое никому не удалось бы специально срежиссировать. Оно у всех единое, красноречивее фотографических уловок и объединившее нас не внешне, а по сути. Самой печальной выглядит Ольга. Она стоит на нижней ступеньке, на переднем плане, и скорбь на ее лице так явственна, будто она только что пережила большую утрату. А рядом с ней — неизвестно откуда взявшаяся первоклассница, тоненькая и тоже грустная. Почему она примкнула к нашей группе? Приходится ли она кому-то из наших младшей сестрой? Если да, то почему стоит рядом с Ольгой? Теперь уже не узнать, и от этого фигурка девочки обретает какой-то символический смысл. Грустный маленький школьный ангел, проекция на детство, которое всегда будет ждать нас у ворот школы...

Тогда всего этого невозможно было обзреть. Каждый смотрел вовнутрь себя, а общая картина была недоступна. Только спустя много лет, когда я вернулась к этому снимку, обнаружилась вся скрытая драма расставания и то, как глубоко мы проросли друг в друга за эти годы.

А значит — было, было! Пусть даже не так или не совсем так. У каждого свое представление об отдельном и своя память. Но в целом — было.

Ритка, помнишь?

Синий апрель,
Теплый рассвет,
Ни туч, ни ветра нигде...
Миру сегодня семнадцать лет,
Потому что семнадцать тебе.

Будет зима,
И будет метель,
Но в сердце оставят след
Эта весна, и этот апрель,
И эти семнадцать лет....

Радость и грусть
Ушедших дней
Нам разделить пришлось.
Тем дружба крепче,
Чем дороги трудней —
Так повелось.

Все именно так и развернулось в дальнейшем. А теперь еще вот эта повесть... Главная ее героиня — не ты и не я, а школа. Наша легендарная школа № 90 имени А. С. Пушкина. В престижную немецкую спецшколу отбирали тех, кто успешно прошел собеседова-

ние с учителями немецкого языка. Новичков тщательно прослушивали, анализируя произношение, другие способности, а тех, кто прошел отбор, сортировали по классам. По какому принципу формировались классы, было не очень ясно. Но можно было совершенно точно сказать, что ни один из нашего «Б» класса не вписался бы ни в «А», ни в «В», ни в какой другой класс. Наверное, здесь сыграло роль профессиональное чутье комиссии.

Школа, напитала нас тем, чем мы живы и поныне, что несем в себе и будем нести всегда. И не только мы, но и те, что придут и пришли после нас, каждое последующее поколение. Дух школы, получившей в 2013 году диплом телепроекта «Достояние Одессы», не умер и не устарел. Он по-прежнему обитает в ее стенах.

Все, что мне хотелось — это передать этот дух, воссоздав образ наших отношений. Это не документальное повествование. Посему не удивляйся, если далеко не все в этих историях соответствует тому, что мы помним и что было в действительности. У пера — своя правда.

МОРОЗ И СОЛНЦЕ

Началась полная неразбериха. Кто-то поговаривал, что в будущем году в детский сад уже не нужно будет ходить. А куда тогда ходить?

— Ты знаешь, куда мы пойдем? — спросила Ирка Король Сокола.

— В школу, Королева, — со знанием дела ответил Сокол.

— Все вместе? — забеспокоилась толстенькая Стелла.

— Да, сейчас! Вместе. Как бы не так! — задиристо вмешался Хорьков. — Всех рассортируют по разным школам.

— Рас... что? — не поняла Королева.

— Да ну тебя! — махнул рукой Хорьков и побежал играть в войнушки.

Как Хорьков сказал, так и вышло. Нас рассортировали по разным школам. Я оказалась вместе с Соколом и Чебуреком в одном классе и решила держаться пока что их компании. С одной стороны, сад немного наскучил, но с другой — там было все просто: поели, погуляли, поспали, позанимались. И еще воспитательницы книжки читали, каких нигде не достать. «Волшебник Изумрудного города», например.

Школа перевернула все с ног на голову.

Первый день был вообще полной засадой. Никто ничего не понимал — куда ведут, зачем ведут. Все были в напряжении. Кто по сторонам глазел, кто дорогу назад пытался запомнить, кто испуганно разглядывал новые лица, а Кузя так вообще редела белугой. Кто такая белуга, никто точно не знал, но тут и там раздавалось: чего она ревет как белуга?

— Как дам сейчас! — рывкнул на нее мальчишка злобного вида.

Кузя — сухонькая, как старушонка, с серыми жидкими волосами и смешно вздернутым носом наподобие кикиморы из мультика — затряслась подбородком и попыталась подавить всхлипывания.

Тем временем нас привели в класс, посадили за парты и дали осмотреться. Парты вызвали недоумение. Из детсадовских их не понял никто. На них ни кашу утреннюю поесть, ни полепить из пластилина. И как играть с теми, кто напротив, если они сидят к нам спиной? Оказалось, что кашей кормить не будут и пластилин не дадут. А смотреть нужно исключительно на учительницу. Про завтрак нам почти сразу сообщил кто-то из второклашек, заглянув в класс из любопытства. Вопросы к нему выкрикивались прямо с места.

— Что дома съел — на два часа должно хватить, — со знанием дела отвечал он на вопрос о каше. — Потом — в буфет за пирожными и булочками с колбасой.

В классе раздалась одобрительные возгласы. С этого и надо было начинать! Настроение немного поднялось, хотя оставалось неясно, как после буфета свой класс найти. Но и эти страхи оказались напрасными. В буфет нас после третьего урока проводила Ольга Дмитриевна, и с ней же мы вернулись назад.

Посещение буфета было самым ярким событием того дня. Прилавок с пирожными разных сортов снится мне и поныне. Облачного вида безе, корзиночки с яркими цветами, шоколадная картошка, лодочки... На чем же остановиться? Никогда не заходили мы без присмотра родителей в такие злачные места! Каждый теперь знал наверняка, к чему нужно стремиться на третьем уроке.

В первый же день я села за одну парту с Кузей, позади Сокола с Чебуреком. Просто жалко ее было. Все время глаза на мокром месте, чуть что — в платок сморкалась и так нос натерла, что он уже стал как у Деда Мороза.

— Не бойся, — пыталась я ее успокоить. — Уроки закончатся, и мы домой пойдем.

— А ты откуда знаешь? — недоверчиво спросила она, шмыгнув носом.

Кузин вопрос застал меня врасплох. Ну как откуда? Ясно откуда... Это как-то само собой подразумевалось... Я уже было собиралась что-то ей напелти, как раздался звонок, и в класс вошла учительница.

— Здравствуйте, дети! — сказала она, улыбаясь, совсем, как воспитательница из детского сада. — Меня зовут Ольгой Дмитриевной. Я ваша учительница.

— А в саду их двое было, — прошептал Чебурек Соколу.

— С одной легче справиться, — прошептал ему в ответ Сокол.

Учительница стала вызывать всех по списку, и когда дело дошло до Кузи, тот мальчишка злобный, который впоследствии оказался Корнелишиным, зашипел ей в спину: «Кузя, Кузя!» Чебурек обернулся и показал ему большой кулак. На Корнелишина это подействовало. Но кличка приросла к Кузе мгновенно.

С Кузей мы просидели за одной партой три года. Она была тихой, никогда не задиралась, не высказывала своего мнения, а когда ее вызывали к доске, стояла, насупившись, и смотрела в пол глубоко посаженными водянистыми глазками. Впечатление было такое, будто она упрячилась. На самом же деле ей просто все трудно давалось.

У Кузи не было тяги ни к чему. Она и в буфет не ходила — жевала свои рогалики под партой во время урока, а на перемене грызла яблоко. Иногда я показывала ей стихи, которые писала с семи лет. Она читала, шурясь, и ничего не говорила. Бедная Кузя, думала я, она, наверное, даже стихов не понимает.

Как-то мы с Кузей договорились, что пойдем к ней после уроков и я помогу ей по русскому. Она жила совсем рядом, не нужно было даже дорогу переходить. Поэтому мама разрешила мне пойти к ней ненадолго.

Двор у Кузи был не такой замечательный, как у меня, а вот квартира была без соседей, на первом этаже. Ее родители были врачами, и в большой комнате стояли высооченные шкафы с книгами по медицине. Наверное, Кузя будет врачом, подумалось мне, пока я разглядывала корешки толстенных книг с диковинными названиями.

— А что это за язык? — поинтересовалась я, пытаясь прочесть несколько названий на корешках.

— Латынь, — ответила Кузя, вытряхивая учебники из портфеля на стол.

— А ты знаешь латынь?

Кузя кивнула.

— Да, интересно у тебя тут... Ну, хорошо. Давай задание по русскому делать.

Мы открыли тетрадки, нашли нужную страницу в учебнике, и я стала читать вслух слова с пропущенными буквами, а Кузя должна была говорить, какие буквы должны были быть на месте пропусков и почему.

Крутолобая Кузя была тугодумкой. Всякий раз, когда я задавала вопрос, она шурилась и смотрела куда-то вдаль, словно припоминая. Но ждать было бесполезно. Поэтому я сама поясняла правило, а она только повторяла за мной. В течение получаса мы справились с заданием.

Я стала собирать вещи в портфель.

— Ты уже уходишь?

— Ну да. Мне кушать пора. Меня соседи ждут с обедом.

— Соседи? Вы живете в коммуналке?

— Да.

— Везет же! — вздохнула Кузя.

— А тебя кто кормит?

— Мне мама в буфете оставляет все. А вечером мы с родителями обедаем. Вот смотри!

Кузя открыла дверцу буфета. Там на тарелочке лежали бутерброды и огурцы.

— Хочешь бутерброд со мной съесть? А то одной как-то грустно...

Кузя так жалобно посмотрела на меня, что я решила задержаться.

— Ладно, только не реви. Я посижу, пока ты поешь свои бутерброды.

Кузя обрадованно поставила тарелку на стол. Потом, подумав, открыла какой-то ящик под книжными полками и достала тетрадку.

— На, почитай пока...

Я открыла тетрадку. Боже мой, что я увидела! На каждой странице аккуратным почерком Кузи были выведены стихи.

— Это что? — изумленно спросила я.

— Стихи, — отщипывая по кусочку от бутербродов, ответила Кузя.

— Сама вижу, что стихи. Это ты, что ли, написала?

Кузя кивнула.

Я углубилась в чтение. Стихи были о зиме.

С первых же строк волшебный мир накатил на меня, накрыл с головой, комок подступил к горлу, даже дышать стало трудно. Вот это да! Кузя превзошла все мои ожидания. Заснеженные равнины, дети с салазками, солнце, мороз... Неведомая донныне боль пронзила меня, все во мне рыдало, словно глаза мои открылись и я осознала что-то такое, что словами не передать. Вот она, настоящая поэзия! Вот она, великая тайна! Кузя была гениальна.

Не в силах больше читать от переполнявших меня эмоций, я закрыла тетрадку. Нужно было остановиться, пройтись по улице, переварить поток образов.

— Дашь домой? — сдавленным голосом спросила я.

Кузя отодвинула тарелку с общипанным бутербродом и кивнула.

— Спасибо. Завтра принесу.

— Читай, сколько хочешь, хоть до послезавтра, — великодушно разрешила Кузя.

Весь вечер я провела за чтением. Впечатление не убывало, а когда я закончила, великая грусть нахлынула на меня. Нет, я не завидовала Кузе, я просто поняла, что подобного мне не достичь. Такое дано только избранным. И как только Кузе пришли все эти образы в голову? Особенно впечатлила рифма розы-морозы. Ну надо же до такого додуматься! Где розы и где морозы! А Кузя вот додумалась. И как же после всего этого писать свое?

Вечером пришел отец с дежурства и сразу заметил мое настроение.

— Доча, что-то в школе произошло? Ты двойку схватила?

Я отрицательно замотала головой.

— Тогда что? Мама поругала?

Я снова отрицательно замотала головой. Отец призадумался. Тогда я вытащила из портфеля Кузину тетрадку, которую собиралась ей отдать, и протянула отцу.

— Это что?

— Стихи. Кузя написала. Ты почитай.

Отец взял в руки тетрадку, пробежал глазами стихи.

— Ну, как? — спросила я.

— Прекрасные стихи. У тебя отличный вкус, и у Кузи твоей тоже.

— Это у меня вкус. А у Кузи — талант.

— У Кузи, может, и талант, только стихи эти не ее.

— Пап, ну как же не ее! Это ее почерк, я же знаю.

— Почерк ее. А стихи Александра Сергеевича Пушкина.

Он достал с полки томик Пушкина и дал мне.

— Вот, почитай.

На следующий день я гневно вернула Кузе тетрадку.

— Кузя, как ты могла?

— Что? — робко спросила Кузя.

— Тебе не стыдно было сегодня входить в школу, когда на тебя с портрета в вестибюле Пушкин смотрел?

Кузя уставилась на меня, ничего не понимая.

— Стыдно или нет? — добивалась я ответа.

— Стыдно чего? — со слезами в глазах спросила Кузя.

— Мороз и солнце, день чудесный! Кто написал?

— Ну, Пушкин...

— Во именно — Пушкин! А ты за свое выдала!

— Не выдала. Я в тетрадку переписала. Чтоб тебе почитать дать. Ты ведь давала мне свои стихи.

— Кузя, ты соображаешь вообще, что говоришь! Я тебе свои давала, а ты мне — Пушкина, написанные твоим почерком.

— А чьим же еще? Не могла же я его почерком...

— А почему ты мне сразу не сказала? Я ведь спросила тебя!

— Ты спросила, сама ли я написала, — оправдывалась Кузя. — Я же не думала, что ты имеешь в виду «сочинила»!

Сокол и Чебурек повернулись к нам, внимательно слушая наши разборки.

— А что там за стихи такие? — перебил нас Сокол. — Дайте почитать!

Он схватил тетрадку, что лежала на парте, открыл и прочитал вслух:

— Мороз и солнце, день чудесный! Прямо как сегодня.

В этот момент в класс вошла отличница Даша Мороз.

— Ой, погляди, Мороз и солнце! — захохотал Чебурек, показывая на нее.

Класс покотился со смеху, и эта реакция продолжалась несколько дней подряд, как только Мороз вызывали к доске.

— Дети, ну что смешного? — допытывалась улыбчивая Ольга Дмитриевна.

— Солнце смешное, — под общий хохот ответил Сокол.

С Кузей мы в конце концов помирились, но домой к ней я больше не ходила и по русскому помогала только на переменках.

КАЗЕНКА

Феля предложила пойти на казенку. Идея вынашивалась с прошлого года, но в пятом классе было еще стремно, а в шестом сам бог велел.

— Куда ты ходишь на казенку? — выпрашивала Феля Фаца, влюбленного в Ритку.

— Какую еще казенку? — пытался отцепиться от нее Фаш, подозревая, что она хочет его поймать с поличным. Феля была в числе лучших учеников, а Фаш ходил в отстающих.

— Слушай, я для себя спрашиваю, — доверительно сказала Феля, понизив голос.

— Точно?

— Точно, точно! Точнее не бывает.

— Контрольную по алгебре дашь скатать?

— Да. Ну, рассказывай...

Фаш лукаво улыбнулся.

— А Ритке от меня записку передашь?

— А ты что, сам не можешь?

— Передашь или нет?

— Передам. Ну?

— Ладно. С утра иду в кино, притворяюсь, что учусь во вторую смену, если что. Потом покупаю мороженое, иногда две порции. Потом — в парк. Там никого в это время нет, красиво, тихо.

— А что ты там делаешь один?

— Голубей гоняю, на траве валяюсь, думаю...

— О чем? Небось, у кого потом домашнее задание скатать? — Феля хихикнула.

— Да иди ты! Я о Ритке думаю. Почему она с тобой такой дружит, а со мной не хочет.

— С какой «такой»?

— Ну, такой... Зловредной.

— За это контрольную не получишь.

— А я скажу, что ты на казенку пошла, когда тебя в классе не будет.

Феля вздохнула и согласилась на все условия.

На следующее утро Феля зашла за мной, как всегда, и мы отправились якобы в школу.

Феля обладала удивительным свойством внушать доверие взрослым. У нее был какой-то правильный вид. И говорила она в их присутствии очень правильно. И вела себя со мной рядом как старшая сестра. Модель поведения она, положим, удачно скопировала со своей старшей сестры, уже замужней, а все остальное шло на интуиции.

Феля была хитрюга. Только своего любимого папочку она не могла обвести вокруг пальца. Он как глянет в ее плутовские глазки, так сразу все просекает.

— Ах ты, плутовка, — улыбаясь, говаривал он, трепля ее по щеке.

А Феля и не отпиралась — только смеялась в ответ, зная, что папочка ее обожает и все шалости сойдут ей с рук. Тем более что отметки у нее всегда были хорошими, и ни один учитель еще никогда на нее не пожаловался.

Феля по секрету как-то рассказала мне, что папочка вечерами играет в одной квартире в преферанс и почти всегда выигрывает. Партнеров своих он умел читать только так, ничто не ускользало от его пронизательного взгляда. И считать он умел дай бог каждому. Так что семья была обеспечена, несмотря на то, что Фелина мама работала всего лишь медсестрой.

Мы вышли со двора, и я автоматически повернула направо.

— Стой, — одернула меня Феля, — нам налево. Мы сейчас сядем на троллейбус и поедем в кино.

У меня дух захватило от предвкушения полупустого зала и фильма, который будут показывать практически для нас.

У кассы мы отсчитали мелочь, и Феля направилась покупать билеты.

— Два билета, — сказала она уверенно. И на всякий случай прибавила: — Мы во вторую смену учимся.

Кассирша взглянула на нее с усмешкой:

— Те, кто во вторую смену, еще дрыхнут.

— А вот мы не дрыхнем, — бодро и без капли смущения отпарировала Феля.

Кассирша только головой покачала.

В зале было абсолютно пусто, промозгло и неудобно. Мы поежились, ожидая, когда погасят свет.

— Сколько там до начала? — спросила я.

— Две минуты, — ответила Феля, которой недавно подарили часы.

Через две минуты зажегся экран, и нам стали промывать мозги какими-то урожаями и достижениями в науке и технике.

— Перешли бы сразу к делу, — прошептала я.

— Ты чего шепчешь? Кроме нас, тут никого нет, — громко сказала Феля.

— Привычка, — ответила я опять шепотом.

— От вредных привычек нужно избавляться, — веско сказала Феля. — Ну, давай скажи чего-нибудь вслух.

— Отстань! Чего прицепилась? Дай на комбайн посмотреть.

Мы расхохотались на весь зал.

— Вот видишь, это и есть свобода, — сказала Феля, всхлипывая от смеха.

Фильм был какой-то нудный. Журнал был куда интересней, и из кинозала мы вышли с нулевым впечатлением.

Начало казенки явно не задалось.

— Ну что, пойдём хоть мороженого поедем, — предложила Феля.

— А у меня больше нет денег. Все на кино истратила, — виновато сказала я.

— У меня есть. Мне папа всегда дает больше на всякий случай. Хочешь в «Снежинку»?

Ну, Феля! Ну, дает! В «Снежинку» я ходила только с родителями и только по воскресеньям, да и то если они выпадали на какие-нибудь праздники или семейные торжества.

Мы потопали по Дерibasовской прямо в сторону «Снежинки», предвкушая праздник живота. На пути у нас вырос лоток с мороженым, но мы и глазом не повели в сторону продавщицы, предлагающей свой ассортимент.

— Девчонки, купите мороженое! — зазывала продавщица. — У меня и эскимо на палочке, и пломбир, и фруктовое, и сливочное. Ну куда же вы? Денег, что ли, нет?

— Есть у нас деньги! — важно ответила Феля.

— Так в чем же дело?

— В свободе выбора!

— Чего?

Феля махнула рукой и ускорила шаг.

В кафе было тихо и немногочленно. Несколько пожилых пар сидело за столиками, и одна молодая мамаша напротив качала младенца в коляске. Ничего интересного. Ни потолкаться в очереди, ни место занять заранее, стоя наготове и переминаясь с ноги на ногу возле перспективного столика... Даже младенец и тот спал.

Мы подошли к витрине, за которой стояли высокие кастрюли с несколькими сортами мороженого, и заказали себе по три шарика каждого сорта.

— Чем поливать будем? — спросила продавщица.

— Мне вишневым сиропом, — сказала я.

— А мне клубничным, — сказала Феля.

В последний раз, когда я была здесь с родителями, вишневый сироп кончился, и я вынуждена была заказать с клубничным, что испортило праздник. Теперь же любимого сиропа было навалом, хоть ведро заказывай, а праздника — пшик. Мы взяли в руки пиалы с мороженым и двинулись в зал.

— Ну, куда сядем? — спросила Феля, оглядывая пустые столики.

От такой свободы выбора даже дыхание перехватило. Вот бы на всех посидеть! Но нет, нельзя...

— Давай возле окна! — предложила я. Мне всегда хотелось возле окна. И ни разу не удалось. Вечно там кто-то сидел.

— Возле окна! Скажешь тоже!

— А что?

— А то. Вот начнем лопать мороженное, а по улице директриса пройдет. Увидит нас — и кранты.

— Чего это она вдруг по Дерibasовской ходить станет во время уроков?

— А ты чего по Дерibasовской ходишь во время уроков?

— Ну...

— Вот и она тоже.

Мы прошли в глубь зала и сели за столик в углу.

Мороженное было вкусным, но отсутствие ажиотажа притупило некоторые вкусовые качества. Когда ждешь, волнуешься, что оно закончится и тебе предложат другое, которое ты не очень любишь, когда следишь за тем, кто сколько взял, и пытаешься сообразить, сколько еще осталось, то обостряется не только зрение и нюх, но и вкус. Выделение слюны, например, очень тому способствует.

— Скучновато как-то, — сказала я, слизывая сироп с ложки.

— А на уроках что, веселее? — Феля строго посмотрела на меня. — Не умеешь ты наслаждаться свободой. На свободе всегда так — сначала скучновато, а потом привыкаешь. Вон, видишь, люди сидят на свободе, мороженное себе спокойненько едят, газетки почитывают, и никто не жалуется.

— Так это ж пенсионеры!

— Ну, пенсионеры. А у пенсионеров, что ли, не такая свобода?

— Да что ты заладила! Свобода, свобода... А что такое свобода, ты хоть знаешь?

— Знаю, конечно! Свобода — это осознанная необходимость.

— В смысле?

— В смысле, мы вот осознали с тобой, что нам необходимо сорваться с уроков, и пошли на казенку.

— Ни фиги себе! Откуда ты это знаешь?

— От папы.

— А он откуда?

— Из книги какой-то. У нас дома полно книг. Даже Шекспир есть в старинном издании с картинками и золотыми страницами.

— Вот это да! Так, наверное, Шекспир это и написал про свободу.

— Ну, да, он! Как же я сразу не догадалась! В «Ромео и Джульетте» это было, точно! Ромео когда к балкону подходит и Джульетта ему про своих предков говорит, что они, мол, с его предками враждуют, он и выдает ей, что свобода — это осознанная необходимость.

— А при чем тут это?

— А при том, что они потом взяли и без спросу поженились.

— Ну и ничего хорошего из этого не вышло. Видишь, чем все закончилось...

Феля задумалась.

— Нет, наверное, я ошиблась. Это в «Гамлете» было. Он там спрашивает, быть или не быть. И вырывается на свободу.

— Так ведь и в «Гамлете» ничем хорошим не кончилось...

Мы взглянули на наши пустые пиалы.

— Ладно, встаем! — скомандовала Феля.

На улице было хорошо, солнечно, куда светлее, чем в нашем углу в кафе. Феля взглянула на часы, прищутив свои морские глаза.

— Куда теперь? — спросила я, понимая, что она подготовилась к казенке основательно.

— В парк. Там сейчас красота, листопад.

Насчет красоты Феля оказалась права. Парк Шевченко осенью — это что-то из Пушкина. Тихо, небо синюшее, листья с позолотой мягко раскачиваются в воздухе, птицы в траве крошки выскивают. И столько всяких тропинок между кустами и деревьями, что кажется, любая приведет в волшебный лес.

— Слушай, а давай будем голубей гонять, — предложила Феля ни с того ни с сего.

— Это как?

— А вот так!

Она бросилась к стайке голубей, и они с шумом поднялись в воздух.

— С чего это ты голубей вдруг решила гонять? — спросила я, наблюдая, как они постепенно приземляются поодаль.

— Потому что это весело и свободу еще лучше ощущаешь! — Она снова разбежалась и врзалась в гушу голубей. — Кшш!

Свободы в парке было действительно хоть отбавляй, куда больше, чем в городе, и возможности ее испытать не шли с городскими ни в какое сравнение.

— Слушай, у меня в портфеле бутерброд лежит, — сказала Феля. — Давай будем голубей кормить!

— А гонять когда?

— А мы сначала будем кормить, а когда они вокруг нас соберутся, мы начнем их гонять. — Она открыла портфель, достала бутерброд и разломала на две части. — Хватай, это тебе.

Мы стали крошить хлеб, и через несколько секунд голуби окружили нас плотным кольцом, норовя выхватить хлеб из рук. Феля усмехнулась.

— Ну, теперь держись, — пробормотала она, бросая им последний кусочек.

Голуби, ничего не подозревая, еще плотнее подступили к ней. И тут Феля издала какой-то гортанный звук типа индейцев из немецких фильмов и с хохотом ринулась на растерявшихся от неожиданности голубей. Они бросились в разные стороны, а Феля преследовала их, и как только они приземлялись, вновь норовила врзаться в их группки.

Как долго мы гоняли по парку — Феля за голубями, а я за Фелей, — сказать было трудно. О времени мы начисто забыли. Осталось только пространство и мы. Наверное, настоящая свобода и есть без примеси времени.

За беготней нам грозило прозевать все на свете и получить за это дома хорошенькую взбучку, но тут в нескольких шагах от нас зашевелился куст, и из него выскочил мужик в черном плаще с густо лоснящимися наподобие грачиных перьев волосами. Его непроглядные, как ночь, глаза впились в нас, и он быстро-быстро задвигал фалдами плаща, словно тоже хотел взлететь.

— Помчали, — шепотом, будто мы находились в переполненном кинозале,скомандовала Феля.

Мы синхронно повернули на сто восемьдесят градусов и рванули к выходу. За нами послышались развевающиеся фалды плаща.

— Не оглядывайся! — выдохнула Феля. — Добежим до главной дорожки, там люди.

Через минуту мы уже вылетели из зарослей на главную дорожку. Там действительно были люди.

— Ну все, отстал! — сказала Феля, переводя дыхание.

У меня дрожали руки и ноги.

— Да ты не бойсь, — попыталась успокоить меня Феля. — Эти дегенераты обычно никого никогда не преследуют. Прячутся по кустам, а если на них прикрикнуть, то убегают, чтобы их не видели.

— А ты откуда знаешь?

— Я слышала, как папе один психолог рассказывал, когда пришел к нам в гости.

— Тоже еще нашел о чем в гостях рассказывать, — фыркнула я.

Вдруг Феля изменилась в лице. Глаза у нее выкатились, и она заорала на всю улицу:

— Полундра!

Краем глаза я заметила черные фалды, вынырнувшие из переулка. Мы припустили что есть мочи.

— Так не бывает, так не бывает, — приговаривала на бегу Феля.

Мы бежали, ничего вокруг не замечая и глядя только под ноги, чтобы не споткнуться. Неожиданно кто-то возник у нас на пути, перекрыв дорогу.

Прямо перед нами, раздвинув руки, стоял какой-то толстенный дед, на которого мы чуть не налетели.

— Куда это вы так мчитесь? От кого это вы убегаете и почему это вы не в школе? — грозно вскричал он, как Мойдодыр из мультика, наклоняясь вперед всем корпусом и преграждая нам путь.

— Мы, мы...

Он сделал движение, словно желая сгрести нас в охапку, но мы вывернулись и с визгом бросились вниз по улице.

Дед отстал. Мы пробежали еще немного и собирались уже остановиться, чтобы отдышаться, как из-за угла вновь вынырнули черные фалды.

Не раздумывая ни секунды, мы сорвались с места и понеслись во всю прыть.

— Так не бывает, так не бывает, — хрипела Феля на бегу.

Казалось, что это не мы бежим, а улица превратилась в эскалатор и несет нас к Фелиному дому. Если бы это было на физре и Федора засекала бы время, она бы точно отправила нас на городские соревнования.

Мы влетели во двор, рванули дверь Фелиного парадного и взмыли на четвертый этаж ее высокого старинного дома, как на скоростном лифте.

Дома у Фели никого не было, кроме полусумасшедшей Мани, ее тетки. Феля трясушимся руками всунула ключ в скважину и отперла дверь. Почти так же молниеносно она ее захлопнула за собой.

На стук выползла Маня из своей комнаты и стала что-то вякать.

— Маня, сгинь! — рявкнула Феля так, что покосилось зеркало на стене в прихожей. Маня бесшумно исчезла.

Мы влетели в комнату и первым делом подбежали к окну.

Сверху двор просматривался идеально. Можно было увидеть каждого голубя и каждого воробья.

— Никого, — с облегчением сказала Феля и пошла переодеваться.

В ту же минуту из подъезда нарисовался черный плащ.

— Смотри, смотри! — заорала я.

Феля дернула к окну, и у нее отвалилась челюсть.

— Полный атас...

Посреди двора, ворочая головой, стоял наш преследователь и шарил глазами по окнам. Фелины окна были высоко, под самой крышей, а днем они вообще отсвечивали солнцем, так что разглядеть что-либо было невозможно. Плюс к тому еще и занавески были из плотной благородной ткани. Несмотря на это, нам стало не по себе, когда черный плащ, задрвав голову, буквально впился взглядом в Манино окно.

Несколько секунд мы стояли оцепенев, а он продолжал смотреть без отрыва, словно что-то безудержно влекло его к этому окну.

Вдруг Феля затряслась от беззвучного смеха. Я вопросительно посмотрела на нее, но она не могла остановиться, выдувая из горла какие-то кричающие звуки, будто на уроке, когда нельзя смеяться, и от этого распирает еще больше.

Я стала трясти ее за плечи.

— Ты что?

Словно страдая от удушья, Феля еле выдавила из себя:

— Я... я... представь только... вот если бы... он увидел... Маню вместо нас... — Она согнулась в три погибели и захлебнулась от хохота.

Черный плащ по-прежнему не сводил глаз с Маниного окна. Мне стало жутковато, но Феля разогнулась и, грозя ему пальцем, выпалила:

— От вредных привычек нужно избавляться!

Тут и меня прорвало. Мы обе повалились на пол и катались по толстому персидскому ковру, хохоча до изнеможения.

Когда приступ смеха прошел, мы еще какое-то время лежали, глядя в потолок и всхлипывая. Наконец все утихло.

— Есть хошь? — спросила Феля.

— Зверски.

Мы отправились на ее самостоятельную кухню — чудо из чудес для ребенка, выросшего в одесской коммуналке — и стали поедать все подряд, уставившись на крыши соседнего двора, куда выходили окна. Кухня была вытянутой в длину, и на ней могло бы запросто уместиться несколько соседок. А слева, по всей ширине, были ступени, ведущие в просторнейший и теплый туалет с ванной и душем.

— Хорошо у тебя, — говорила я, заедая сыр шоколадной конфетой из «Золотого ключика».

— А у тебя, что — плохо разве?

— И у меня хорошо. У меня соседи, как родные дедушка с бабушкой. Они, наверное, уже волнуются, почему я задерживаюсь.

О том, чтобы возвращаться домой одной после всего этого, не могло быть и речи.

— Покажи мне Шекспира, — попросила я, дожевывая последний кусок.

Феля повела меня в комнату, где располагалась библиотека, и перед моим взором за стеклом книжного шкафа невероятной красоты развернулось королевство старинных книг, доставшихся Фелиному отцу от предков.

Феля бережно вытянула массивный том с «Ромео и Джульеттой», и мы упивались иллюстрациями, переложенными специальной полупрозрачной бумагой по типу той, на которой моя мама переснимала выкройки из журналов мод. Ради этого стоило познать горький вкус свободы.

Вскоре пришел Фелин папа. Он был немного удивлен, застав меня в гостях.

— Вы что, проказнили сегодня? — с усмешкой спросил он у Фели.

Ее плутовские глазки забегали, но вместо ответа она попросила его пойти с нами прогуляться и заодно провести меня домой.

Папа погрозил ей пальцем, мы оделись и отправились втроем ко мне.

По дороге мы с Фелей усиленно вертели головами по сторонам, желая удостовериться, что никто нас не подкарауливает, но черный плащ как сквозь землю провалился.

— Ну слава богу! Почему так поздно? — всплеснула руками тетя Витя, открывая нам дверь. — Все в порядке?

Увидев рядом Фелиного папу, она немного встревожилась.

— Да, да, не волнуйтесь, все в полном порядке, — уверил ее Фелин папа.

Он объяснил, что я была у Фели, и он не хотел, чтобы я шла домой одна. Что и было правдой. Как и почему я оказалась у Фели, никто не уточнял.

— Ну и хорошо! Спасибо вам большое, что проводили нашу красавицу, а то я уже обед в который раз разогреваю!

Мы распрощались, и я пошла мыть руки.

Вечером, засыпая, я думала о том, как хорошо возвращаться из школы в этот дом, где ждет обед, где со двора раздаются знакомые голоса, где мама по ночам строчит на машинке, ожидая папу с дежурства, и где голубь с утра стучит в окно.

На следующее утро Феля зашла за мной, поздоровавшись с моими родителями как ни в чем не бывало, и мы отправились в школу.

Как только мы вышли из ворот, она быстро зыркнула влево.

— Даже не думай, — предупредила я ее.

— А я и не думаю. У меня так само получается, — призналась со вздохом Феля. — Наверное, это необходимость свободы. В особенности по утрам.

Она посмотрела на часы.

— Значит так, Феля, — сказала я внушительно. — Свобода — это никакая не необходимость. Свобода — это когда не нужно смотреть на часы.

Феля удивленно подняла брови.

— А что же тогда необходимость?

— А необходимость — это все остальное.

До школы мы дошли, не проронив ни слова. Феля переваривала сказанное, а я — впечатления вчерашнего дня.

Когда мы вошли в класс, Фащ подозвал нас с Фелей и заговорщицки спросил:

— Ну, как?

— Все класс, — сказала Феля.

— В кино ходили?

— Ага.

— Мороженое ели?

— Ели.

— Голубей гоняли?

— Гоняли.

— Сначала мы их, потом они нас, — добавила я.

Мы прыснули.

— Это как? — не понял Фащ.

— Долго рассказывать, — решила закруглиться Феля.

Мы направились было на свои места, но Фащ окликнул нас:

— Эй, вы куда? Ты мне записочку задолжала.

Феля вернулась.

— Давай уже свою записочку.

Фащ вырвал из тетради листок, с тоской взглянул на Ритку в противоположном конце класса и написал: «Пошли на казенку!»

ЧУДО

Писать или не писать о Неточке Ивинской? Вопрос риторический, типа гамлетовского. Гамлет ответил самой постановкой вопроса, выбрав «быть». Не писать о Неточке Ивинской все равно что выбрать «не быть», потому что в наших глазах Неточка была не только самой большой достопримечательностью школы, но даже и города. А чего стоит любое место без своей главной достопримечательности? Оно стоит ров-

но столько, сколько за него дают. Достопримечательность же делает его бесценным. В любом городе есть красивая архитектура, театры, кафе и рестораны, и почти в любом городе есть благоустроенные жилые массивы, моря и реки, горы и равнины. А вот достопримечательности в каждом городе свои. Например, градоначальник Дюк де Ришелье, покончивший с коррупцией и бандитизмом в городе и написавший в 1813 году императору: «Одесса сделала за последнее время такие успехи, которые не делала ни одна страна в мире». Или основательница города Екатерина Великая. Или грандиозный оперный театр, построенный Фельнером и Гельмером. Говорят, немцами. Но если какой-нибудь Карабас-Барабас захотел бы перетащить все это в свою Жмеринку, то, невзирая на чудовищный урон, который был бы нанесен городу, Одесса все равно не перестала бы быть Одессой, а Жмеринка Жмеринкой. Одесса — это одесситы. И если одесситы вдруг всем скопом собрались бы переехать на другой континент, то и там развели бы Одессу по всем углам и закоулкам, как это произошло на Брайтоне в Нью-Йорке при значительном скоплении одесситов. Но полностью все одесситы все равно никогда из города не уедут. А уехавшие приедут, уедут и снова приедут.

Такие девочки, как Неточка, не появляются каждый день в одесской семье, где мамы фаршируют куриные шейки и пичкают детей завтраками, обедами и ужинами, чтобы они соответствовали определению «одесский ребенок». Такие девочки, как Неточка, не охотятся за котлетами и не выживают ватрушки из миски, пока мама отворачивается, чтобы вытащить из духовки следующую порцию. Такие девочки, как Неточка, стоят весь день на пуантах, разбивают их, мнут, пробуют, хорошо ли они гнутся, и потом взлетают над паркетом в зеркальном зале, кружатся, приземляются на кончики лепестков, а затем отдыхают в цветочной колыбельке. Когда я однажды заболела и ко мне привалила сердобольная Феля, чтобы помочь мне разбить только что купленные моей мамой пуанты, я возомнила себя почти что Неточкой.

Бедная мама из жалости к заболевшему ребенку поехала в специализированный магазин, где ей по большому благу вынесли пуанты, которыми я бредила несколько ночей подряд.

— А большего размера у вас нет? — поинтересовалась мама, вызвав недоуменный вопрос в глазах продавщицы.

— Это самый большой. Большого у балерин не бывает, — веско ответила продавщица. Она бы, наверное, дала еще одну пару в придачу за возможность взглянуть на того слона в посудной лавке, которому самый большой размер пуантов был мал.

Всю ночь мама дотачивала эти злополучные пуанты, в момент разившие у меня комплекс неполноценности, а днем пришла Феля, знавшая в этом толк, и стала стучать ими изо всех сил по столу так, словно это была сушеная вобла, а не волшебное изделие для полета над сценой.

Закончив, Феля ловко встала на пуанты и продемонстрировала, как и что нужно делать. Я попробовала повторить за ней, взвыла и сказала, что лучше буду как Айседора Дункан.

Феля благодарно унесла пуанты к себе, где ее мама переделала их обратно, а мне всю ночь снилась насмешливая Неточка, выгибающая свою крохотную стопу до судорог в моих ногах.

Неточке пророчили блестящее будущее. Оно сияло так, что Неточка сама иногда жмурилась. Ее фарфоровое личико с еле различимыми нежно-розовыми чертами невозможно было до конца разглядеть, так филигранно все было выполнено на нем, включая и микроскопические живописные мушки. Мы все были детьми, а Неточка — ювелирным изделием. Ее можно было поставить в какой-нибудь старинный сервант рядом с золотой сахарницей или чайным прибором или поместить в музыкальную шкатулку.

ку, где она блистала бы, вращаясь на одной ножке и завораживая гостей. Она была такая легкая и хрупкая, что казалось, разобьется, выделявая бесконечные па. Но она не разбивалась. Разбивались о нее, причем уже с первого класса.

Уже в первом классе Неточка тревожила сердца соучеников. Как только она пришла на собеседование в нашу школу, ее тут же взяли в престижный «А» класс. И правильно! В каком же еще классе должно было храниться это достояние республики с волосами с пшеничным отливом и глазами цвета летнего неба?

Неточка не просто ходила в балетную школу — она была воплощением балета в его самой высокой, классической, ипостаси. Когда она однажды бежала по Дерибасовской в балетной пачке, опаздывая на генеральную репетицию в оперном, куда ее взяли в массовку для «Щелкунчика», весь город стоял на ушах. Шумиха поднялась такая, словно в оперный прилетел один из позолоченных херувимчиков. Движение останавливалось, Неточку пропускали трамваи, троллейбусы и такси, зеваки расступались, и ни одна собака не осмеливалась ее облаять. Ее фотографировали уличные фотографы и зевачки, и фото попало в местные газеты, которые учителя приносили пачками в школу, чтобы Неточка на них расписывалась. Вырезки из газет дарили друзьям и коллегам, отсылали родственникам в другие города в качестве новогодних открыток. В общем, газетная промышленность за один день Неточкиной пробежки испытала такой взлет, как ни одна балерина за всю свою карьеру.

Уже с раннего возраста на Неточку ходили в балетный класс, как на зрелую Майю Плисецкую. На нее смотрели как на седьмое чудо света, потому что даже самые известные и опытные педагоги не могли разгадать тайну Неточкиного таланта. Оперный театр уже готов был распахнуть перед ней занавес и дать ей ведущую роль в «Лебедином озере», но она была еще слишком мала, и занавес, вздыхая, открывался перед другой солисткой, как все понимали, временной.

Неточка была чудом. Она не имела разгадки. И это подтвердилось временем, которое не властно только над чудом. Все теряет свое былое очарование, блекнет и отмирает — только не чудо. Чудо всегда ново, всегда поражает и возносит, и тот, кто однажды столкнулся с ним воочию, уже никогда не спутает его с чем-то другим.

Через несколько лет Неточка вступила в подростковый возраст, и когда на часах пробил полночь, ее балетная пачка превратилась в школьную форму, ее пуанты стали туфельками из соседнего магазина, а золотая карета, которая несла ее к оперному, рассыпалась. Неточка проснулась ученицей шестого класса, отличницей и знаменитостью. Но балерина уснула в ней навсегда.

Никто не мог в это поверить. Собрали консилиум балетных светил. Неточку просили сделать то и это, и она все в точности выполняла, но это были заученные движения старательной ученицы. Неточку больше не прочили в большой балет, она даже не получала предложений танцевать маленького лебедя. Она стала абсолютно бесперспективной. На нее не хотели больше тратить времени и продвигать на сцену.

Город поник и впал в депрессию, наступила глубокая затяжная осень, никто не понимал, куда улетучился такой яркий талант. В оперном завесили окна и зеркала, а херувимчики перешептывались о том, что Неточку погубила коварная Одиллия.

На самом же деле все жестоко ошибались.

На этом скорбном фоне вдруг просияло то, что раньше никому бы не пришло в голову. Балет был лишь временным призванием Неточки. Настоящим ее призванием было оставаться чудом.

Да, вопреки всем ожиданиям, вопреки здравому смыслу и житейскому опыту Неточка не угадала. Она по-прежнему пленяла взор, вокруг нее стоял ореол обожания, и когда она появлялась в оперном годы спустя после окончания школы и стояла в ан-

тракте в ложе в каких-то умопомрачительных нарядах-фантазиях, которые могла надеть только она, никто не выходил из зала. Все головы были повернуты в ее сторону, все обсуждали детали ее наряда, прически, позы, а она смотрела вверх, на расписной потолок и, казалось, видела себя в одном из медальонов Лефлера — в «Сне в летнюю ночь» или в «Зимней сказке». А когда тушился свет, она растворялась в позолоченной темноте ложи и воцарялась на сцене в образе Одетты-Одиллии, и по окончании спектакля ей бурно аплодировали. Потому что если Майя Плисецкая была гением балета, то Неточка Ивинская была гением чистой красоты, национальным достоянием.

— Неточка, ах, Неточка! — роились вокруг нее сокурсницы.

К тому времени она училась на филфаке в одной группе со мной и успела развестись с первым мужем, которого ей нахрапом сосватали две подруги-учительницы. У одной из них был взрослый, известный в городе сын, работавший на телевидении. Он только и ждал, чтобы Неточка окончила школу. Его притащили прямо на выпускной, и он, разодетый, как принц из сказки Андерсена, направился к Неточке с пышным букетом в руке. Неточка зарделась, как крохотная роза, опустила глаза и слилась с букетом. Благо на помощь пришли две учительницы, взяли из рук Неточки букет, что дало возможность жениху пригласить ее на танец. На рассвете нового дня он встал на одно колено и на глазах у всех попросил у Неточки руки.

Брак этот вскоре распался. Принц оказался кротом из «Дюймовочки», но Неточке удалось выбраться из норы, избежав острых зубов его расвирепевшей мамыши. Там, на воле, ее ждал эльф из нашей же школы, безнадежно влюбленный в нее с первого класса. Неточка была на два года старше, и это казалось непреодолимым препятствием. Но чудо свершилось, эльф повзрослел и так вытянулся, что мог бы держать Неточку у себя на ладони, если бы она ему это позволила. Когда они наконец случайно встретились в городе, он предложил ей руку и сердце и самостоятельную квартиру, купленную по случаю его родителями. Неточка, конечно, согласилась, и эта счастливая развязка послужила началу новой счастливой страницы Неточкиной жизни.

И на этой чудесной ноте я закончу, потому что в жизни всегда должно быть место чуду.

УРОКИ ФИЗКУЛЬТУРЫ

На уроках физкультуры можно было побеситься. Добрая седовласая Валентина Федоровна понимала, что детям нужна свобода, и не заставляла нас ничего такого специального делать. У меня, например, не получались прыжки в длину. Помню, я даже расчертила пол мелом у нас дома, чтобы взять эти чертовы метр двадцать, но мои усиленные тренировки привели к скандалу с соседями этажом ниже, и я так и остановилась на метре десять. Зато я хорошо прыгала в высоту, и Валентина Федоровна закрывала глаза на все остальное.

На физре было весело и вольготно. Ни тебе фартуков с формой, ни тебе бантов. И говорить можно было вслух друг с другом, потому что стоял гомон от беготни и хохота.

Совершенно другая атмосфера была в старших классах. Там всем заправлял миниатюрный, но очень привлекательный пожилой, лет тридцати пяти, Валерий Степанович со спортивной выправкой и смоляными, коротко подстриженными волосами. Старшеклассницы заявлялись к нему на урок, как на бал, в каких-то сногшибательных формах, приобретенных явно на Толчке, в причесах с закрутасами. Если во время урока случалось пройти мимо спортзала, то невозможно было не задержаться и не посмотреть, как слаженно и четко выполняли девчонки упражнения, как осваивали бревно, взмывали через козла. Валерий Степанович строго следил за всеми, требовал держать

осанку, никогда не улыбался, редко кого хвалил, и его темно-синие глаза сосредоточенно следили за каждым поворотом головы, шеи, тела выполнявших упражнения.

Валерий Степанович учил эстетике движений, магии преодоления гравитации, упорству и стремлению. Он никогда не закидывался на результате — путь к цели был для него куда важнее.

— Ну как ты прыгнул, Ершов? Ну что это за кувырок в воздухе? Ты же смял все — подход, поворот, прыжок! — выговаривал он ученику, успешно приземлившемуся на мат.

— Валерий Степанович, так я ж хорошо приземлился, точно, — защищался Ершов.

— И что с того? А красота где? Где полет? Где отточность движений? Ты и на свидании цветы в руки своей девушки всунешь и будешь считать, что успешно достиг цели?

Ох уж этот Валерий Степанович! Это ж не урок физкультуры, а целая школа жизни! Не зря его ученики резко контрастировали с учениками Валентины Федоровны. И тем не менее нам было лучше с Федорой. Федора была настоящая — чуть растрепанная, немного сутулая, улыбчивая, как наши бабушки. Однажды, когда она заболела, ее замещал Валерий Степанович.

Как всегда, мы выстроились в линейку, переговариваясь о том о сем. Замена никогда никем всерьез не воспринималась.

— Это что еще за построение? — командным голосом обратился к нам с порога Валерий Степанович.

Мы кое-как подравнялись.

— Какой это класс? — спросил он, открыв журнал.

Все переглянулись. Ну дает чувак! Не знает, в какой класс пришел заменить!

— Повторяю вопрос. Какой это класс?

— Пятый «Б», — раздалось нестройно с разных концов.

— А я думал, пенсионеры пожаловали спортом позаниматься. А ну-ка подтянись! Животы подобрали, плечи расправили, подбородок вверх. Вот так!

Урок был еще тот. После него на географии все лежали плашмя на партах и тупо следили за учительской указкой. Даже самые егозистые не шевелились. Похоже, географичке это пришлось по вкусу. Она так разошлась в своих познаниях, что говорила еще минуты две после звонка. Благо никто не был в силах хлопнуть крышкой парты в качестве вежливого напоминания.

Федора на следующей неделе была уже в порядке и причапала в школу в прехорошем настроении. Радости нашей не было границ, когда она вошла в зал, где мы выстроились по безукоризненной линейке, выкрикивая «ура!» такое громкое, что в зал заглянула учительница украинского языка, которую недавно назначили завучем.

— Что это у вас тут за праздник? — поинтересовалась Полина Владимировна.

— Валентина Федоровна выздоровела! — загалдели мы наперебой.

— Ну надо же, как они вас любят, — поразились завуч, обернувшись к Федоре.

— Мы вас тоже любим, — поспешили мы заверить ее.

И это была чистая правда. Полина Владимировна никогда не ставила двоек и с сочувствием относилась к нашему неукраинскому произношению. Даже троечники типа Кали имели у нее в четверти четверку.

— Ой, спасибо вам, дети, — растрогалась Полина Владимировна. Голос у нее дрогнул. Она сделала глубокий вдох и обратилась к Федоре: — Можно я займу несколько минут вашего урока?

— Пожалуйста, сколько угодно, — растянувшись в улыбке, заверила ее Федора.

— Ну спасибо... Дети, я не хотела, чтобы это было неожиданностью для вас... Со следующей недели у вас будет новая учительница по украинскому языку.

— Почему? А как же вы? — раздалось со всех сторон.

— Я теперь буду заниматься учебной частью и преподавать раз в неделю в старших классах литературу. Но вы не волнуйтесь — я нашла прекрасную учительницу. Ее зовут Ирма Григорьевна. Она вам понравится, даю слово!

Ирмочка понравилась нам мгновенно. Когда она вошла в класс и, чуть краснея, сказала: «Здравствуйте, меня зовут...», все тут же в унисон продолжили: «Ирма Григорьевна». От этого она еще больше смутилась и, не зная, что сказать, широко улыбнулась.

Ирмочка только окончила педагогический институт и была ростом чуть выше Буратины — самого низкорослого мальчика в классе. Ирмочка смотрелась как куклка неотечественного производства — с ямочками на щеках и с лучиками света в глазах и в волосах. Мы любили обступать ее на перемене и расспрашивать о чем-нибудь, все равно о чем. Но вскоре в наших отношениях что-то изменилось. Чем это было вызвано, никто не знал. То ли мы ей надоели с нашими вопросами, то ли она должна была готовиться к другим урокам, только со звонком Ирмочка вылетала из класса, не задерживаясь ни на минуту. А мы стояли огорошенные, не в силах ее удержать.

Вокруг Ирмочки образовался какой-то таинственный нимб. Она стала чаще давать нам письменное задание в классе, а сама в это время смотрела в окно и о чем-то мечтала. Нужно было понять, что происходит, но спросить напрямую у Ирмочки никто не отважился. Тогда решено было за ней проследить.

Когда вместе со звонком Ирмочка в очередной раз выскользнула из класса, мы на счет «три» последовали за ней. Это было непросто. Из классов уже выскакивали ученики, и нужно было обладать особой зоркостью, чтобы разглядеть за ними маленькую Ирмочку. Прыткова, обогнавшая нашу стайку, махнула нам издали, указывая путь, и мы ринулись к лестнице.

Нет, Ирмочка не пошла в учительскую, как другие учителя. Она спешно спускалась вниз, на первый этаж, где располагался буфет. Но и туда Ирмочка не пошла вкушать пирожные. Ирмочка напрямик направилась в спортивный зал и, войдя, быстро закрыла за собой дверь.

Как быть? План созрел тут же. Решили бежать на школьный двор, куда выходили окна зала, и через минуту уже были на месте.

Зал просматривался как на ладони, только слышно ничего не было. Расположившись за кустами, мы стали наблюдать за происходящим.

Ирмочка стояла в центре зала, рядом с бревном, и Валерий Степанович в чем-то горячо ее убеждал. Мы сразу смекнули, что он говорил о наличии у нее незаурядных спортивных способностей и пытался уговорить начать тренировки на бревне. У Валерия Степановича было особое чутье на талант, и он точно знал, кто с каким спортивным снарядом сочетается наилучшим образом. Мы с ним были абсолютно согласны насчет Ирмочки. Если бы она стала на бревно, все сразу бы увидели, как она хороша и как не похожа ни на кого из учительской. Но Ирмочка отрицательно мотала головой, делая выбор в пользу украинского языка.

— Молодец! — одобрил Парибон.

— Это почему? — вскинула брови Прыткова.

— Потому что если она согласится, мы ее потеряем. Физрук точно отправит ее на соревнования, и тогда — ищи-свищи училку.

Довод был убедительный, и с Парибоном согласились.

Все последующие недели прошли в сплошных переживаниях. Терять Ирмочку никто не хотел. Мы исподтишка изучали ее выражение лица, когда она смотрела в окно, пытаясь понять, согласилась ли она на предложение Валерия Степановича.

— Может, подставить ей подножку? — предложил Парибон, когда все уже отчаялись что-либо понять.

— Это еще зачем? — строго спросила Феля.

— Чтобы в спорт не пошла.

Идея была хорошая, но до этого дело не дошло. Пока мы раздумывали над предложением Парибона, в школу заявила жена Валерия Степановича. Она напрямик направилась к Ирмочке, и они обе заперлись у Валерия Степановича в чулане, где он хранил спортивный инвентарь. Разговор был недолгим, но действенным. Ирмочка вышла заплаканная, а жена Валерия Степановича удалилась, поджав губы, и на прощание пригрозила завучем.

У нас камень с души упал. Больше Ирмочка в спортивный зал не приходила и о бревне и думать забыла.

Как удалось жене Валерия Степановича переубедить Ирмочку, осталось тайной. И хотя мы и желали в душе, чтобы Ирмочку все увидели на возвышении, делающей сальто и садящейся на шпагат, мы эгоистично порадовались тому, что теперь она — наша.

Валерия Степановича эта история подкосила. У него появилось много седых волос, голос его потерял прежнюю упругость, и в следующем году он уже преподавал в другой школе.

А Федора еще долго оставалась с нами — до тех пор, пока не ушла на пенсию.

ТРИ ДУЭЛИ

Школа развивает в трех направлениях: физическом, эмоциональном и интеллектуальном. И не всегда это происходит на уроке. На уроке мы постигаем школу знаний, а на переменках — школу жизни. Они практически не совпадают, но всегда дополняют друг друга.

Сашка Чернобай был средоточием зла. Худенький, высокий, белобрысый, с колючими водянистыми глазами, он заваливал в класс со злобной миной и не переставал сквернословить, пока не появлялась учительница. Добрая половина класса вообще не понимала смысла некоторых его ругательств, и от этого они казались еще более лютыми. И фамилия у него была под стать его темным наклонностям. И вообще, если фамилии давались по кличкам, то, значит, чернобайство у него было в крови. Имя отражает чаяния родителей, их мечту, а кличка — то, что получилось на самом деле.

Бить Сашка любил по голове, и как только раздавался звонок на перемену, каждый старался убежать в какое-нибудь людное место. Например, в буфет. Тогда Сашка стал поджидать одноклассников до начала уроков. С утра он был особо опасен. То ли ему давали подзатыльников на дорожку, то ли занятия располагали к воинственности, но в это время лучше было не попадаться ему на глаза.

Сашка никогда не заходил в класс до звонка, а останавливался у двери и высматривал очередную жертву. Все избегали смотреть на него, но если кто-то случайно боковым зрением задевал его, он тут же насакивал на беднягу.

Сашку я не боялась. Несмотря на длинную толстую косу и внешний облик примерной ученицы, я могла, если что, и на кулаках себя отстоять. Но и не только. Все зависело от уровня интеллекта противника. Вот нервный Корнелишин, например, любил читать книги и ненавидел людей. У него немного тряслись руки, и его никто не трогал, потому что он быстро заводился по ерунде и сыпал какими-то цитатами сомнительного происхождения. Как-то раз он вызвал меня на словесную дуэль. Я не могла не принять вызов, поскольку это пошатнуло бы мой авторитет и как старосты, и как главы моей группировки. В четвертом классе меня выбрали старостой. Практически единогласно. Просто так сложилось, что мне поверяли разные секреты и тайны, которыми я никогда ни с кем не делилась, и просили совета, который я всегда давала. Принятие решений — это мой конек с детства. Поэтому когда встал вопрос о старосте, все показали на меня. Какие я там формальные обязанности должна была выполнять,

не помню. Но это было несложно, поскольку у меня был прекрасный контакт со всеми. Я дружила и с теми, с кем мне не рекомендовали дружить, и с теми, с кем всем рекомендовали дружить. Только я это делала не по рекомендации.

Параллельно у меня была своя неформальная группировка, которую я возглавляла. Занимались мы полной ерундой, выдумывая себе какие-то цели, не имеющие ничего общего с учебным процессом. Это была другая, интересная, жизнь, со своими конфликтами и примирениями. Внутренняя жизнь класса, о которой учителя не догадывались. Нашей группировке противостояла хиленькая группировочка из двух человек. Возглавлял ее Парибон. Парибон был славный, бойцовского вида. У него одна нога была короче другой, и ему заказывали специальную обувь, в которой он смотрелся, как настоящий комиссар. Ходил он громко, но не хромал. Его всегда сопровождал верный друг Кучер, выросший с ним в одном дворе.

Помню, зашел у нас какой-то очередной спор с Парибоном, и он заявил, что спор наш может разрешить только дуэль.

В воскресенье мы мирно обедали с родителями, когда раздался звонок в дверь. Папа вопросительно взглянул на маму — гостей вроде бы не ожидали — и отправился по длинному коридору, чтобы посмотреть, кто пришел.

Через несколько минут он возвратился со странным выражением лица.

— Кто это? — спросила мама.

— Да какой-то милиционер с пистолетами, нашу дочь спрашивал.

Я чуть не поперхнулась.

— Какой еще милиционер?

— Ну такой, со шпагой и пистолетами. Говорит, на дуэль тебя вызывает. Я его пригласил войти, но он наотрез отказался. Сказал, во дворе подождет.

Я вопросительно посмотрела на родителей.

— Можно я пойду?

— Можно, иди уже. На улице холодно, что ж он ждать там будет! — сказала мама, переглянувшись с отцом.

Когда я вышла, Парибон важно сообщил, что поскольку у меня ни шпаги, ни пистолетов, то дуэль состоится на снежках. Он уже провел черту по снегу и заготовил несколько снежков, которые затвердели и отливали свинцом.

Мы отсчитали десять шагов, и Парибон предоставил мне право первого выстрела. Я оценила его жест и вяло бросила снежок, попав в дерево. Очередь была за ответным снежком.

Парибон взял снежок, потоптался на месте и сказал:

— Нет, я так не могу. Ты все-таки девчонка. Хочешь, в кино сходим?

— В кино? В какое еще кино? Я в кино только с родителями хожу.

Он подумал.

— Хорошо. Ну давай тогда объединимся в маленькую группу: ты, я и Кучер, мой адъютант. Хочешь, будешь главной.

— А что делать будем?

— Помогать.

— Кому?

— Старикам всяким там, одиноким...

Парибон был благородным, хоть и не таким начитанным, как Корнелишин. Заслышав о нашей готовящейся с Корнелишиным словесной дуэли, он занял место в первом ряду на случай, если понадобится прийти на помощь.

На большой перемене мы в окружении класса начали дуэль. Тянули жребий, как полагается, и Корнелишин вытянул право первого выстрела. Он, конечно, обрадовался, не понимая, что преимущество за тем, кому дается последнее слово. Подтянув штаны,

он нервно приступил к метанию колкостей в мой адрес. Поначалу он цитировал сказки про Бабу Ягу, под которой подразумевалась я, а потом перешел на анекдоты. Никто не смеялся, а я терпеливо ждала, пока он иссякнет. На лице моем не отражалось ничего, кроме внимания. Это злило его еще больше. Он начал заикаться, дрожать и наконец процитировал самую неуместную банальность, которую только можно было процитировать.

— Бог посмотрел на твои ноги и создал колесо!

На мои ноги никто даже и не взглянул, потому что все и так знали, у кого какие ноги. И Корнелишин знал и понимал, что спорил чушь. Это его и подкосило. Он иссяк.

Настал мой черед. Взгляды были переведены на меня. И в тот же миг, не задумываясь ни на секунду, я выпалила то, что легло пятном на облик Корнелишина на долгие годы и чем сегодня не горжусь:

— Бог посмотрел на твой рот и создал унитаз...

Корнелишин отскочил, как ошпаренный, под неистовый хохот класса и еще долго трясся за партой, когда прозвенел звонок.

С Чернобаем речи о словесной дуэли быть не могло. Его интеллект был настолько низким, что никакая игра слов, кроме бранных, не возбуждала его.

Всякий раз, завидя его, я вздергивала подбородок и демонстративно шагала мимо. Я никогда не обходила его стороной, если он оказывался у меня на пути. А оказывался он постоянно. Иногда зазор между нами критически суживался, но я непоколебимо держалась намеченного курса. Чернобай, конечно, шипел что-то, пока я плавно, но уверенно раздвигала волны воздуха между нами и давала полный вперед, неумолимо двигаясь к цели. В эти минуты перед моим мысленным взором стоял китобоец, на котором плавал отец, и я ощущала поддержку всей китобойной флотилии «Слава».

Чернобай высился вдалеке, как айсберг, и однажды мы все-таки столкнулись. Мгновенно и совершенно беззвучно мы вцепились друг в друга и в ритме вальса переключали в дальний угол коридора, чтобы никто, не дай бог, не прервал нашего долгожданного поединка. Чернобай с силой дернул меня за косу. Это было ожидаемо и тривиально. Я немедленно ухватила его за чуб, и он поначалу оторопел, потеряв позиционное преимущество. Он рассчитывал, что, дернув за косу, заставит меня отклониться назад и я начну беспомощно барахтаться руками в воздухе, пока он будет меня дубасить. Теперь же он сам вынужден был пригнуться к земле, потому что за чуб драть куда больнее, чем за толстенную косу, которая периодически выскальзывала у него из рук. Изо всех сил стараясь не привлекать внимания, мы сосредоточенно пыхтали в углу, составляясь в выносливости. Ученики прибывали и, подивившись Сашкиному отсутствию у двери, радостно ныряли в класс.

Мы же сосредоточенно продолжали борьбу, и перевес был явно на моей стороне. Чернобай извивался изо всех сил, которых становилось все меньше.

— Ну что, сдаешься, гад? — прошептала я, приближаясь к победе.

Он в ответ натужно извлек из себя все те же непонятные ругательства и поражения признавать не спешил. Он все еще надеялся, что увернется и восторжествует надо мной. Но ложные надежды усыпляют бдительность. Улучив момент, я успешно пригнула его к земле. Дело было швах, и он наконец это понял.

— Гитлер капут, — тихо, но внушительно проговорила я, переходя на лексикон нашей специализированной немецкой школы.

Это подействовало. Сашка поднял обе руки вверх и сдавленно выругался.

В класс я заявила победительницей. Вид у меня, конечно, был не очень: мой роскошный белый бант увял и сдвинулся набок, коса растрепалась, и оторвалась манжета — но зато настроение было что надо. Сашкин чуб, напротив, весь день стоял, как гребешок, над покрасневшим лбом, и в течение недели он всех сторонился.

Домой я пришла в замечательном расположении духа. Мамы еще не было, я быстро стала переплетать косу. И тут — о, ужас! — увидела, что одна из прядей была выдрана. В запале драки я ничего не почувствовала. Но — на войне как на войне! Бывают и худшие потери. Поразмыслив о том, как быть с этой прядью, я решила засунуть ее обратно в косу, чтобы мама не заметила потери. Я аккуратно вплела выдранную прядь в свою косицу, закрепив ее сверху бантом, и вскоре начисто забыла о потере.

Бант к вечеру развязали, пожелали мне доброй ночи, и я отправилась спать.

Наутро я проснулась от того, что надо мной стояла мама и причитала: боже мой, у ребенка выпадают волосы! Нужно немедленно отвести ее к врачу! Оказывается, пока я безмятежно спала сном победителя, прядь выпала и осталась предательски лежать на подушке.

Идти к врачу после победы над Чернобаем было бы равносильно капитуляции. Спокойным тоном благоразумной девочки я попросила маму подождать немного и сказала, что если выпадение волос продолжится, то тогда и пойдем.

Мама неожиданно согласилась, подивившись такой мудрости малолетней дочери. Папа же сразу что-то заподозрил.

По дороге в школу я ему все рассказала.

— Представляешь, я двигаюсь своим курсом, а он на пути у меня стоит, — рассказывала я ему взахлеб.

— Ну и?

— Ну я ему и посигналила.

Папа покачал головой, потом рассмеялся и ругать не стал. Он ведь все-таки был из моряков. И его капитанская школа тоже складывалась не только из школы знаний, но и из школы жизни. Да еще какой!

ОФЕЛИЯ

С фасада школы можно было обозреть все классы. Каждое окно словно рекламное фото: учителя сидят за столом, ученики отвечают у доски, или наоборот: учителя объясняют материал у доски, а ученики внимают за партами. Воспоминания о школе следуют архитектурной логике здания. Поначалу идет вид с фасада, где все пригласительно и бесконфликтно. Никаких отношений, кроме отношения к уроку. Затем память смещается в зону, открывающуюся со стороны школьного двора, куда стремглав убежала жизнь на переменках: в коридоры, туалеты, буфет, библиотеку и другие помещения и закутки величественного школьного здания.

Со звоном все выскакивали из классов и неслись по коридору. Перемена — глоток свободы. Хватай, сколько сможешь! Кто-то дергал девочек за косички, кто-то спешно досказывал историю, начатую на прошлой переменке, кто-то ставил подножки всем подряд... Старшеклассники вели себя по-другому. Они пробирались между бегущей малышней, отодвигая в сторону то одного, то другого, и шли прямо по направлению к следующему классу. Вообще жизнь у них была не такая интересная. Они больше напоминали взрослых и даже не дразнились. Правда, и среди некоторых шестиклассников уже намечалось поведение посолиднее. Но это было редко и не очень приветствовалось, потому что нарушало общий ритм. Вот Феля вдруг перестала даже на подножки отвечать. А раньше как даст по шее, так мало не покажется. Рука у нее крепкая — не зря гимнастикой занималась. Ну с ней, положим, все было ясно. Ее с начала года один девятиклассник Сиреной стал величать. Долговязый такой, в очках, прыщавый немного. Интеллигент. Все время с новой книжкой в руках ходил на переменках. Как встретит Фелю в коридоре, так все «Сирена» да «Сирена». Мы даже специ-

ально пошли в библиотеку на втором этаже и посмотрели в «Мифах народов мира» про сирен. Если в сравнении с морем, то глаза у Фели были действительно цвета морской волны. Большие такие, продолговатые, обрамленные иссиня-черными загибающимися ресницами. А волосы каштановые и тоже как волны. И сама она была гибкая, как волна. Родители записали ее не только на гимнастику, но и на танцы. Голоса у нее, правда, никакого не было, и в этом смысле на сирену она не тянула, а так — вполне.

Феле льстило, что когда она выходила из класса, старшеклассник окликал ее: «Сирена!» Она светила и, поведя глазами, упругой походкой направлялась к месту следующего урока. У нас эта кличка не прижилась, и мы по-прежнему звали ее Фелей, потому что она слегка шепелявила, и вообще в ней было много комичного, в особенности когда она отвечала у доски. Учителя ее любили, ставили ей хорошие оценки за добросовестное отношение к учебе, но добросовестность только усиливала ее комичность.

В седьмом классе Феля совсем расцвела, и старшеклассник уже перебрасывался с ней словечком. Она кокетливо ему отвечала и еще больше светила. Оказалось, он тоже чуть шепелявил, и это только укрепило мостик между ними. Нет, Феля не была влюблена, просто ей нравилось, что хоть в чьих-то глазах она была не Фелей, а целым волшебным миром. Иногда их можно было увидеть в коридорчике возле немецкого кабинета, где проходили занятия Фелиной группы. Феля сияла глазами, а он стоял, опершись на подоконник, и шепелявил какие-то нежности.

Их воркование продолжалось до весны. Потом начались выпускные экзамены, много суеты по подготовке, сбору документов. Теперь они виделись мельком на лестнице или в коридоре, и он по-прежнему приветствовал ее: «Сирена!», только взгляд у него был грустным и немного усталым. Феля отнеслась к этому легко. Она понимала, что экзамены — это святое. А больше ничего не понимала. Не было у нее пока что другого опыта. Она мечтала о лете, о море, о прогулках на катере, о поездке к бабушке.

Все это сбылось, и вернулась она в школу загорелой, и загар еще больше оттенял сияние ее глаз. Теперь наш класс перевели на четвертый этаж, где обитали старшеклассники. Эта новость всех очень обрадовала, и все ринулись осваивать новое место обитания. Феля тоже ринулась, но по мере приближения блеск в ее глазах угасал, будто в зале медленно тушили свет. Можно было без труда догадаться о причине этой метаморфозы. До нее вдруг дошло, что случилось непоправимое, что больше никому называть ее Сиреной и что ничего не возвратится на круги своя, как это было все прежние годы. И то же почувствовал почти каждый, кто знал историю Фели и кто вошел в новый класс, в котором еще недавно был ее старшеклассник. Вот ведь как! Столько лет на наших глазах уходило в неизвестность целые классы, а мы и не замечали их отсутствия, не замечали ничего, кроме себя, потому что знали, что были и будем. Куда же нам деться? А те, что ушли, — чужие, далекие, не наши. Может, их вообще не было. Оказалось, что были, и оказалось, что мы сами стали на один год ближе к исчезновению.

Пока все рассаживались по местам, Феля стояла посреди класса и что-то искала глазами.

— Что? — робко спросила я.

— Ничего... Просто хотела вспомнить, где его парта.

Но она так и не вспомнила, потому что не знала и никогда не интересовалась, а теперь и спросить было некого.

Феля не на шутку загрустила. Она пыталась собраться на уроках, но ей это плохо удавалось. В глазах у нее частенько проблескивали слезы, и от этого они еще больше походили на море.

— Феля, не грусти, — утешал ее Зелинский на переменах. — Ну, хочешь, я стану звать тебя Офелией? И всем скажу, чтоб тебя так звали. О, Фелия, о, нимфа...

Феля слабо улыбалась. Она хорошо относилась к Зелинскому, сочувствовала ему, зная, что ему было грустно, не меньше, чем ей, а может, и больше. Он в Лизку Кощелеву который год уже был влюблен! А Лизка — ни в одном глазу. Спускалась себе по мраморной лестнице, как с Олимпа, волосы легкие, как пух, и такие же светлые. И даже не определить словами, что в ней такого было, что заставляло останавливаться и смотреть, смотреть, словно завтра она уже не появится...

Зелинский жил с отцом, потому что мать их бросила, и вид у него был неухоженный, хотя учился он хорошо. На вид он плевал. Ум у него был такой, философский и немного ироничный. Учителя его уважали за взрослость.

— О, Фелия, не грусти, — говорил Зелинский. — Все равно мы все однажды уйдем. Отовсюду причем.

— Это как?

— А так. Сегодня здесь, а завтра — там.

— Где там?

— Там, где нас нет. Вообще нет.

Как ни странно, но Фелю это успокоило.

О Сирене она вскоре позабыла, а Зелинский, как и обещал, называл ее до самого выпускного Офелией.

ДВЕ ДАТЫ

Такого еще не было. Чтобы разъяренная мамаша прибежала в школу защищать своего сынка и угрожать обидчику!

Обидчик, как комарик, трепыхался и попискивал, схваченный за шкирку здоровенной Колькиной мамой. Колька неподвижно стоял, чуть опустив голову, и смотрел на обоих сквозь окуляры своих громадных очков. Он был крупнее обидчика, и это особенно оттолкнуло всех от Кольки. Никто его не жалел, все жалели обидчика, и когда тот наконец вырвался из лап Колькиной мамы, все обрадованно расступились, чтобы он смог улизнуть. Колькина мама не ожидала такого поворота, и лапы ее болтались без дела, пока она не схватила в охапку Кольку и не вскрикнула истошным голосом на весь коридор:

— Не смей подходить к моему Коленьке! — и истерически прижала пухлого Кольку к себе.

Колька по-прежнему созерцал всю эту картину сквозь очки, терпеливо ожидая, пока его оставят в покое.

Подошла учительница, освободила Кольку и повела в класс. А мамаша потрусила на второй этаж разбираться с директором.

С этого момента Кольку не замечали в течение трех лет. Он сидел за партой с таким же неприметным Павликом и смотрел исподлобья на происходящее в классе. Когда заканчивались уроки, он мгновенно исчезал. Невзирая на свое плотное сложение, он был достаточно шустрым, даже каким-то стремительным. Он несся по коридору широкими шагами с портфелем в руке, словно профессор, опаздывающий на лекции.

Колька со временем стал выглядеть солидно. Солидность резко выделяла его. А когда мы начали изучать историю, он просто всех поразил. Какая бы ни была тема, он проводил такие параллели, что Лидия Филипповна диву давалась. Такой эрудицией, таким историческим мышлением в классе не обладал никто.

В том, что Колька будет историком, сомнений не было. А в том, кем будет, к примеру, Ирка по кличке Каля, сомнения были. Когда Каля стояла у доски, колеблясь всем своим фигуристым не по возрасту телом, и пыталась вспомнить какую-то историческую дату, все просто потухали. Но стоило лишь ей посмотреть на первую парту, где сидел

Колька с готовой записочкой, как жизнь налаживалась. Благодаря Кольке тройка по истории Кале была обеспечена.

Каля была из простой семьи. Ее родители были настоящими тружениками и старались в том же духе воспитывать дочерей. У Кали была старшая сестра, которая окончила школу с золотой медалью в тот же год, когда Каля поступила в первый класс. Репутация старшей сестры пагубно сказалась на Кале. На ее хрупкие плечи взвалили все достижения сестры, а это требовало от Кали, чтобы она не посрамила семейный подряд. И Каля рухнула.

— Ты позоришь имя своей сестры! — восклицали учителя, ставя очередной неуд.

И только из битвы по истории Каля выходила со щитом.

Перелом в отношении к Кольке произошел не тогда, когда он заблистал, и не тогда, когда он помогал Кале. История никого не волновала, а Каля была гораздо естественней, когда получала двойку, — с тройкой в дневнике она даже не знала, как себя вести. Прозрение по отношению к Кольке наступило совершенно неожиданно.

На большой перемене из одного из закутков перед кабинетом немки вдруг донеслись звуки прелюдии Шопена. Игра была первоклассной. Все бросились в предбанник, где стояло пианино, почти уверенные, что это учительница по хору развлекается, и каждый останавливался как вкопанный, завидев Кольку.

Колька, тюфяк и историк, каким-то дивным образом выколачивал музыку из пожелтевших клавиш, и она гремела, бурлила, стихала, замедлялась и снова пускалась вскачь, разряжая школьную атмосферу.

Коридор постепенно переполнился. Слушали не только ученики, но и учителя. Колька закончил играть вместе со звонком на урок. Все рассеялись по классам, и остаток дня в школе прошел как затянувшийся антракт.

С тех пор Колька все время играл на большой перемене. Никто не мог понять, где и когда он выучился такому виртуозному искусству. Сам Колька ничего не рассказывал, а вопросов ему никто не задавал.

После этого случая отношение к нему резко изменилось: он снискал себе популярность, и на него стали ходить. Казалось бы, это должно было послужить сближению Кольки с массами, но не тут-то было! Стена между ним и остальными сделалась еще плотней.

Постичь Кольку не мог никто, и о нем вообще лучше было не думать, потому что это могло завести далеко, в какую-то другую жизнь, жизнь гениев, а каждый хотел еще пожить своей, ребячьей, жизнью. Может быть, Колька тоже хотел ребячьей жизни и поэтому все чаще заговаривал со мной. От Парибона он узнал, что мы задумали помогать старикам, и как-то обмолвился, что у него есть хороший план, как это все организовать. Мы договорились о встрече у меня дома, когда закончатся уроки.

В назначенное время после обеда Колька заявился со своим неизменным портфелем, и когда соседка, страдавшая катарактой, открыла ему входную дверь, она подумала, что это новый участковый врач пришел ее проведать.

Весь Колькин план был сплошным пшиком. Все, что он говорил, не имело никакого смысла. Это было какое-то шулерство с колодой расцвеченных слов, которые он быстро перетасовывал, создавая видимость плана. Трудно было поверить, что это тот самый Колька, который блистал интеллектом и потрясал игрой на фоне. Закралась мысль о том, что он так же жульничал, изображая из себя пианиста. Кто знает? Может, незаметно включал запись, а сам едва касался разбитых клавиш?

— Сыграй, — прервав его на полуслове, потребовала я.

Он удивленно посмотрел на меня, явно не ожидая такого поворота.

— Давай, давай, — повторила я, открывая крышку и усаживаясь рядом с ним.

Колька пожал плечами и взглянул на клавиатуру.

— Ну? — грозно подтолкнула я его.

Колька кивнул, и на моих глазах его пальцы начали реанимировать мой замкнувшийся в себе инструмент, из которого извлекали звуки все, кому не лень, включая маму, ее друзей и даже кошку, изредка пробегавшую по клавиатуре. Пианино некогда затаскивали в мою комнату здоровенные грузчики по невероятным изгибам нашей дряхлой лестницы. В какой-то момент они уперлись в один из углов и уже не могли оттуда выйти вчетвером с инструментом. Они снова снесли его вниз, сказав, что ничем больше помочь не могут, и мама забилась в истерике, потому что уже подкрадывались сумерки, а других грузчиков не было. И тогда она просидела всю ночь на лестничной клетке, охраняя бандуру, как окрестила старое пианино соседка, бандуру, которую не могли занести четверо здоровяков и которую не унесли бы никакие ночные воришки. Но только не в Одессе! Потому что если бы ночными воришками оказались те же грузчики, что бросили пианино в парадном, то они могли бы с легкостью все обтяпать.

На следующее утро маме посоветовали других грузчиков, и когда те пришли, она чуть в обморок не упала, потому что, во-первых, их было всего двое, а во-вторых, они были ей по пояс. Но мама была так измучена бессонной ночью, что махнула на все рукой. Вопреки ожиданиям внос бандуры произошел настолько легко и быстро, что когда пианино оказалось в моей комнате, мама подумала, что это ей снится.

Конечно, после такого бравадного финального аккорда пианино ожидало от меня гораздо большего. Но все, что я могла ему предложить, это унылые гаммы со спотыкающимися пальцами и ненавистные этюды для доски почета в музыкальной школе. И только с приходом Кольки все эти хождения по мукам оправдали себя, и мое многострадальное пианино наконец-то увидело небо в алмазах.

Когда Колька доигрывал сонату Моцарта, в комнату почти ворвалась соседка. Она, наверное, подумала, что свершилось чудо и гаммы подействовали...

С тех пор Колька захаживал ко мне.

В школе все шло своим чередом. Колькин репертуар разрастался, и он по-прежнему собирал публику в коридоре. Как-то в разгар какого-то невероятного пассажа Дебюсси, которым Колька щеголял уже несколько дней подряд, в коридор завалил тот самый отпетый хулиган из пятого «В», который в младших классах еле выдрался из лап Колькиной мамы. Он подрос и обнаглел и уже не вызывал ни у кого прежнего сочувствия. Теперь каждый втайне мечтал видеть его избитым и ползающим в пыли, как червяк, но никто не отваживался вступить с ним в поединок. Завидев его, все быстренько расступились. Отпетый прямиком направился к Кольке и со всего размаху трахнул кулаком по клавиатуре. Бедный инструмент зашатался и задребезжал. Все ахнули.

Колька во мгновение ока оказался лицом к лицу с обидчиком. Отпетый размахнулся, метя Кольке в висок, но тут же шлепнулся на пол с таким грохотом, будто на нем были рыцарские доспехи. Никто ничего не понял. Все произошло настолько стремительно, что восстановить последовательность движений можно было бы только на очень замедленном видео. Отпетый поднялся со зверским лицом, кинулся на Кольку головой вперед, метя в живот, но каким-то образом перевернувшись и перелетев через Кольку, снова оказался на полу. На этот раз он уже не вскочил на ноги, а продолжал глазеть на Кольку — инерция мысли все еще несла его вперед, тогда как тело уже потеряло точку опоры. Самбо! Это было самбо, как сообразили в этот миг присутствующие. Но когда Колька сумел выучиться этим приемам и овладеть ими с той же виртуозностью, что техникой игры на фортепиано? Третьей попытки не последовало. Отпетый, крихтя, поднялся с пола и стал пробираться сквозь строй глазевших. Никто уже и не подумал расступиться.

Про себя я сравнивала Кольку с Пьером Безуховым. На «Войну и мир» я наткнулась на нашей книжной полке в десять лет и втайне зачитывалась ею, предпочитая

задачкам о двух пешеходах героев Толстого. Задачи учили неизвестно чему, а Толстой учил жизни, в которой многое скрыто от глаз. У Толстого скрытое вырастало в целый мир невидимых страстей, желаний, стремлений и сомнений. Пройдя эту увлекательнейшую школу внутренних монологов, я пыталась перенести свой опыт на родителей, соседей и одноклассников. И мне это удавалось. К примеру, когда мама приходила с работы и грозно наступала на беспорядок в доме во главе со мной, я тут же прочитывала в этом Кутузова и мгновенно капитулировала. Только в Колькину психологию проникнуть было невозможно. Он был непостижим. Но чисто внешне его можно было описать в тех же терминах, что Наташа Пьера: *синий, темно-синий с красным, и он четвероугольный*. Поскольку к Пьеру я относилась с сочувствием, это помогло укрепить наши отношения с Колькой. Разбились они только тогда, когда Колька из Пьера пожелал преобразиться в Пьеро.

Как-то на большой перемене, когда я направлялась со всеми в концертный предбанник, где Колька уже готовился к выступлению, ко мне подошел Парибон и, хмыкнув, спросил:

— Колька тебя что — домой провожает?

Я остолбенела. Мысль о подобных отношениях с одноклассниками не приходила мне в голову вплоть до четырнадцати лет, пока не появился Сабоня. А на то время мне было всего двенадцать.

— С чего ты взял? — с неприкрытой угрозой спросила я, понимая, что очередная дуэль с Парибоном не за горами.

— Ни с чего. Он сам всем рассказывает, как домой тебя провожает, как дома у тебя бывает.

— Не провожает, а просто идет со мной рядом. И не бывает, а просто приходит по делу, планы общие обсудить.

— А он говорит, что провожает. Всем говорит.

Концерт на сей раз прошел без меня. После уроков, когда Колька подошел ко мне, я спросила его в лоб:

— Ты что, говоришь всем, что домой меня провожаешь?

У него забегали глазки, он покраснел и замялся.

— Больше чтоб не приближался ко мне, ясно?

И Колька больше не приближался.

Какое-то время он еще давал концерты в коридорчике, но я не появлялась, и концерты вскоре прекратились.

Каля по-прежнему колебалась уже изрядно налившимися формами у доски, и Колька методично писал ей даты на бумажках. К восьмому классу она так расцвела, что это уже переросло в скандал. Поклонники ее старшей, все еще незамужней сестры пытались переметнуться к Кале, но грозный рык ее кулакастого бати отбросил их далеко за порог дома. В восьмом классе Калю предупредили, что пора подумать о будущем, она покорно стала готовиться в училище, и в девятом Кольке уже некому было помогать.

С исчезновением Кали и Колька постепенно растворился и вскоре совсем исчез из виду, как в самом начале его пребывания в школе. После окончания школы, спустя годы, его видели в МИДе, куда его взяли еще до получения диплома за неординарные способности. Женился ли он к тому времени, неизвестно.

Калю все-таки удалось впихнуть в медучилище не без помощи ее старшей сестры, ставшей стоматологом. Она удачно вышла замуж, родила двух девочек и работала в больнице. На десятилетие окончания школы она пришла со своими очаровательными дочками, которых вскоре забрал муж, чтобы она могла пообщаться с бывшими

одноклассниками. Никто не ожидал, что Каля придет — никого из тех, что ушли после восьмого класса, на праздновании не было.

Каля восхитила всех, в том числе и учителей. Материнство укрупнило ее формы, придав им благородства, и вся она излучала тепло и добросердечность. Все обступили ее, поздравляли и расспрашивали о том, как ей работается. Поначалу она отвечала односложно, а потом, поколебавшись, как некогда у доски, достала из сумочки аккуратно сложенный листок бумаги и поведала такую историю.

Как-то раз к ним привезли пациента — он уже не вставал с носилок. Каля, взглянув на доходягу профессиональным взором, стала записывать данные в его карточку.

— Фамилия, имя и отчество, — сказала она, держа ручку наготове.

— Это я, Коля... Коля из «Б» класса, — с трудом сказал больной.

Каля выронила ручку.

— Коленька... Коленька, — подскочила она к нему, вглядываясь в эти исхудавшие до неузнаваемости черты. — Как же так... Коленька... А где твои очки? — воскликнула она ни к селу ни к городу и тут же раскаялась.

Колька усмехнулся.

— Они мне уже не нужны. Зрение наладилось.

Каля всхлипнула.

Он похлопал ее по руке.

— Ничего. Это пройдет...

Он запретил впускать к себе в палату кого-либо. Только матери все же удалось проврваться к нему, и она бросилась на колени перед кроватью, обхватив его испаряющееся тело, как тогда, в школе.

— Коленька, Коленька, — стонала она. — Мальчик мой... Не отдам... Не отдам!

Когда вошли санитары, чтобы забрать ее, она вцепилась в край кровати и запричитала:

— Не подходите, не подходите! Не отдам...

Каля ревела, а Колька закрыл глаза и ждал, когда все закончится.

На следующее утро, когда Каля навестила его, он дал ей записочку. Там его слабой рукой были выведены две даты через черточку. Одна из них была годом рождения, а вторая — датой текущего года.

— Что это? — спросила Каля, похолодев.

— Так, две даты, не имеющие исторического значения, — прошептал Колька. Потом обвел глазами палату, произнес: — И я там был... — и выдохнул оставшуюся жизнь.

ПОЛЕТ

Всем хотелось немного побыть Прытковой. Во-первых, она быстрее всех бегала. Не бегала, а летела над старым паркетом, над лестницей, над школьной жизнью, запертой в классах.

— Кто у нас тут легкий на ногу? — спрашивала Сусанна Ивановна, и все сразу понимали, что речь о Прытковой. — Давай, Прыткова, сбегай в учительскую и возьми мои очки со стола.

И Прыткова взмывала с парты и неслась.

Вслед ей неслись мысли Чебурека, который, наверное, представлял, как они несутся вдвоем, и кружат над столом с очками, и выпархивают в окно, а там...

— Чебурек, ты чего? — толкал его локтем Юрка.

— Да ничего, — вздыхал Чебурек.

К тому времени очки уже сидели на носу Сусанны Ивановны, а Прыткова уже сидела за партой.

До Чебурека никому дела не было, а вот Прыткова занимала всеобщее воображение. Как это у нее получалось, преодолевая силу трения, скользить мимо парт и по изгибам школьных лестниц, ни разу не оступившись?

Прототип Прытковой я нашла у Толстого. У Толстого можно найти все. Как в книге жизни. Ну вот, пожалуйста: черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка... Прыткова была голубоглазой, но ведь и Людмила Савельева, игравшая Наташу Ростову, была голубоглазой! А так все сходилось.

Прыткова сразу усекла про Наташу и стала усиленно подделываться под нее. Это окончательно свело Чебурека с ума. В особенности когда она пригласила всех к себе на день рождения и закружилась в вальсе с большой, подаренной родителями куклой, хохоча на манер юной Наташи Ростовской в исполнении Савельевой. Чебурек фильм вряд ли смотрел и поэтому вообще потерял пульс. Прытковой же его реакция была по барабану. Она просто хотела первенствовать. Ни в чем внимании она не нуждалась. Она могла бы быть вполне счастлива с золотым кубком по легкой атлетике или с большим зеркалом в бронзовой оправе.

— Прыткова!

И она подскакивала с места, искрясь, готовая бежать за очками, журналами, учебниками, указками и бог весть еще чем. Что за пружина такая была в Прытковой, разгадать никто не мог. У Тоньки Минской, например, были самые красивые в классе ноги, но бегать, как Прыткова, она не могла. А почему? Да потому, что все должно было быть по справедливости — кому ноги, а кому талант их передвигать. И потом, если бы талант вместо Прытковой достался Минской, то все бы думали, что дело в ногах, и никто бы ни к чему не стремился. С Минской было достаточно и того, что у нее был талант закидывать нога на ногу. Это было грандиозно. До ног же Прытковой вообще никому не было дела. Ну при чем тут ноги, когда у тебя крылья!

Прыткова была самодостаточна и эгоцентрична. Она пошла в своего отца. Когда тот приходил в школу, вокруг него хороводом кружили учительницы. А он только широко улыбался и ждал, пока Прыткова застегнет портфель и поправит колготки. Поэтому когда однажды, уже в десятом классе, Прыткова безумно влюбилась в какого-то мужика, который был старше ее на десять лет и притом в разводе и с детьми, никто ничего не понял. По нашим представлениям, Прыткова могла влюбиться только в того, кто носил бы ее на руках и ждал бы, пока она приземлится из очередного полета.

Родители сразу отказались от Прытковой. Ее выгнали к бабушке, где она начала сереть и худеть. Чебурек попробовал подставить ей свое плечо, но ее от него просто тошнило. А Чебурек, между прочим, был парень видный. Голубоглазый, блондинистый, атлетичный. Но нет. Прыткова летела к другой судьбе, как бабочка на огонь. И обожглась.

На пятилетие окончания школы она явилась какая-то ободранная, с потрескавшимися руками и обветренными губами. Никакого полета в глазах. Оказалось, что она только с севера прилетела на могилку к бабушке. На севере она жила в какой-то глуши, в съемной хибаре со своим суженым, куда не долетали звонки его жены. Он рубил лес, а она таскала ведра с ледяной водой, печь топила, кашу варила. Прыткова не жаловалась. Она просто ввела всех в курс своей жизни. Мать по-прежнему не пускала ее на порог. На этом месте Прыткова вздохнула.

Мы смотрели на нее, как она из поддельной Наташи Ростовской превратилась в реальную декабристку, и только жалели, что Чебурека не было с нами. Может, он, взглянув на нее, разлюбил бы ее наконец. А Чебурек вообще понятия не имел о том, что Прыткова заявилась. Он давно забил на все школьные встречи, начал жить с одной резвой женщиной и в этот самый вечер пришел домой с работы (он устроился грузчиком в порту), хрюкнул водки и завалился спать. Ночью ему, как всегда, снилась летящая

Прыткова. Обычно, когда она удалялась, сон уже не мучил его, и он спал до утра без сновидений. На сей раз было по-другому. Достигнув той точки взлета, на которой она начинала таять, Прыткова вдруг обернулась и так глубоко посмотрела в него, что он очнулся и не мог уже уснуть до утра.

До конца дней Чебурек пытался разгадать значение этого сна, но ему это так и не удалось. А мы договорились никогда ему о приезде Прытковой не рассказывать.

ШУТНИКИ

В октябрюта принимали хорошо, приятно. И звездочка была красивая с портретом внутри. Точно такого же ангелочка я впервые увидела на бронзовой лепнине, что на печке у моей подруги детства Идочки из Молдавии. Еще тогда херувимчик заморозил меня, и сколько потом меня ни пытались убедить, что на звездочке был вовсе не он, я так и не поверила. Жаль было, когда звездочку с херувимчиком поменяли на галстук. То есть галстук тоже ничего — красный, на черном выделялся, но со звездочкой ни в какое сравнение не шел.

В восьмом классе к нам привели райкомовского работника и сказали, что он будет теперь заведовать комсомольской жизнью школы. Работник созерцал нас из-под полуоткрытых век, пока директриса его представляла, а потом посоветовал подумать о вступлении в комсомол пораньше.

— У вас тут есть хорошие ученики. — Он назвал Дашу Мороз, Янку и меня. — Приходите на наше комсомольское собрание, познакомьтесь с комсоргами!

После уроков я, как всегда, собралась домой, но Янка остановила меня.

— Ты куда?

— Домой, куда же еще?

— Ты что, не слышала, что нас в комсомольской организации ждут, чтобы познакомиться?

— Нет, не слышала. Слышала, что приглашал нас этот...

— Владимир Зиновьевич. Он не приглашал. Он ждет нас и еще нескольких из «А» класса. Давай закрывай портфель и пошли, а то опоздаем.

Янка, конечно, куда сметливей меня оказалась. Нас действительно ждали в комсомольской комнате комсорги во главе с Владимиром Зиновьевичем.

— Проходите, садитесь! — сказал Владимир Зиновьевич. — Сеня, покажи, куда сесть, обратился он к невысокого роста старшекласснику.

Рябой Сенечка расплылся в улыбке, подморгнул Янке и указал на два стула напротив Владимира Зиновьевича. Даша Мороз уже сидела в другом конце рядом с ашками.

— Все в сборе? — осведомился Владимир Зиновьевич.

Сенечка взял листок с фамилиями и стал бодро вызывать всех по списку. Впечатление было такое, что сразу после переключки нас поведут в бой. Сенечка был очень энергичным, и казалось, вся комната была заполнена его энергией. Он на таком подъеме выкрикивал каждую фамилию, будто за этим должно было последовать что-то значительное, яркое, большое.

Когда дело дошло до нас с Янкой, Янка весело откликнулась:

— Есть.

Я же вполголоса дала понять, что присутствую. Переключка всегда действовала на меня подавляюще. Сразу возникало ощущение, что тебя взяли в силки. Пожалуй, с такой кислой миной не сидел на том собрании никто.

Тем временем Сенечка с тем же преувеличенным задором зачитал повестку дня, в которую входила встреча с новенькими. Слушающие изобразили внимание, и Вла-

димир Зиновьевич с теми же полуприкрытыми веками приступил к нашему ознакомлению с правилами и процедурой приема в комсомол. Когда речь зашла о том, что для вступления нужно выучить устав ВЛКСМ, я совсем скисла. Янка же просто ликовала.

— Как же здорово, что они пригласили нас и что мы скоро тоже будем участвовать в комсомольской жизни! — с восторгом восклицала она, когда мы шли домой. — А пока ты собиралась, Сенечка предложил мне помогать ему с выполнением разных комсомольских поручений.

— Поздравляю, — кисло ответила я. — А устав ты смотрела?

— Ну, да! Сенечка обещал помочь с подготовкой.

— Да как такое вообще можно запомнить?

— Какое такое?

— Нудное. Я пролистала — там все одно и то же только разными словами. Я такое не запоминаю.

— Не понимаю, о чем ты говоришь.

У меня действительно были очень развиты ассоциативная память и образное мышление. И еще логика. Все, что в это не укладывалось, проходило мимо моего сознания. Янка была другой. Она сразу вписалась в комсомольскую атмосферу, и устав ей было запомнить — раз плюнуть. Поэтому она не восприняла всерьез мои стенания и была уверена, что я валяю ваныку. Мне же было не до шуток. Теперь на нас троих смотрел весь класс, и даже больше — вся комсомольская организация школы. А я себя все сильнее ощущала чуждым элементом.

Всякий раз, когда мы отправлялись на собрание, я мечтала, чтобы оно сорвалось. Мало того, что я ничего не понимала — ни поставленных задач, ни что вообще нужно обсуждать, — так я еще сидела таким откровенным истуканом, что на меня уже стали искоса поглядывать.

— Ну чего ты все время молчишь? — ругала меня Янка после очередного собрания.

— А что я должна говорить?

— Ну хоть что-то!

— Могу только из «Евгения Онегина»...

— ???

— Но боже мой, какая скука...

Янка покрутила пальцем у виска. А я вдруг ощутила прилив энергии.

— Янка, я знаю, что испытывал лишний человек! Я это так чувствую, так чувствую на собраниях, будто я сама Онегин!

Янка остановилась и посмотрела на меня в упор.

— Слушай ты, Онегин, держи-ка свои познания при себе, пока тебя с собрания не попросили.

— А что, разве такое возможно? — с надеждой спросила я.

— А что ты думала? Сидишь с такой миной, будто... Все уже на тебя косятся.

— А Владимир с какой миной сидит?

— У него это не мина, а просто веки такие... тяжелые.

— Ха-ха! Поднимите мне веки! Не собрание, а Гоголь с Пушкиным.

Янка была очень рассержена.

— Слушай, ну чего ты сердисься? Что, в Сенечку влюбилась?

Янка зарделась.

— В какого еще Сенечку? Дура...

Остаток пути мы прошли молча.

Подготовка к вступлению в комсомол шла на всю катушку. Сенечка проверял наши знания, старался, чтобы все участвовали в обсуждении ответов, которые казались мне

бессмысленными. Ну как, к примеру, мы могли *содействовать укреплению дружбы народов СССР, братских связей советской молодежи с молодежью стран социалистического содружества, с пролетарской трудящейся и учащейся молодежью мира*, когда даже на иностранный корабль в порту нельзя было спокойно поглазеть? Или почему это комсомол — *самодетельная общественная организация*, когда она полностью подчинялась партийным органам? Самодетельность — это когда играешь в Тимура и его команду или подбрасываешь записки под двери типа «Мне нужен труп, я выбрал вас, до скорой встречи, Фантомас», а потом нажимаешь на звонок и мчишься вниз по лестницам. А как согласовать приказ *смело развивать критику и самокритику* с приказом *доводить всякое начатое дело до конца*? То есть *начатое дело* критике не подлежит, потому что в противном случае его невозможно будет *довести до конца*? Я попыталась уточнить у Янки эти и другие несвязухи, но она посоветовала не вдаваться в подробности, а просто все выучить.

- А деньги как же мы можем платить? — не унималась я.
- Какие еще деньги?
- Ну взносы. Мы ведь не работаем!
- А если тебе позвонить надо, откуда ты две копейки берешь?
- Так нечестно!
- Честно, все честно. Ты, главное, выучи все и — вперед и с песней.

Вперед мы отправились вместе. А вот песня у каждого была своя.

В назначенный день нас повели в прекрасное здание на Приморском бульваре, где в не подобающей уставу роскошной комнате дворянских времен нам устроили экзамен. За длинным столом восседал совет комсorghов во главе с председателем райкома. При взгляде на их лица у меня заныло под ложечкой.

Нас было всего несколько человек, все с прекрасными рекомендациями, отличники и хорошисты. Но предчувствие у меня было плохое.

— Ну что ж, начнем, — сказал председатель райкома и стал вызывать кандидатов по списку.

Первыми шли ашки, затем нас трое. Сначала зачитывались характеристики, а потом задавались вопросы. Пока дело дошло до меня, все легкие вопросы закончились.

Когда назвали мою фамилию, я встала и почувствовала на себе взгляды комиссии, которые не предвещали ничего хорошего. Не скрою, к комиссии я отнеслась предвзято, причем сразу, как вошла. И мне показалось, это было обоюдно. Даже отменная рекомендация не помогла. Вопросы пошли на засыпку. У Янки аж глаза округлились. Мне ничего не оставалось, как стоять и хлопать ушами, ответив всего на один или два нормальных вопроса, заданных мне сердобольной женщиной средних лет, и принять приговор.

— Девушка, вам придется подучить устав и прийти снова, — заключил председатель.

Да, как же! Разбежалась! Нет, это я не сказала, только подумала.

— Ну чего они к тебе приклеились! — сокрушалась всю дорогу Янка. — Ничего, мы тебе поможем. Подтянем тебя по всем вопросам, и все будет как надо.

— Ты чего? Да я больше туда ни ногой! И на ваши собрания даже не вздумай меня тягать. Ясно?

— Как? Мы обязаны тебе помочь!

— Слушай, я просто счастлива, что мне не нужно присутствовать на этих собраниях. Я же сказала тебе: больше не пойду! Ни к вам, ни туда. У меня еще навалом времени до десятого класса.

И я-таки не пошла. А Янка вскоре стала комсorghом и влилась в новую жизнь, махнув на меня рукой.

Только в десятом классе, когда отлынивать уже было нельзя, я с группой троечников отправилась на переэкзаменовку. Прочитала устав, решив не обременять себя, и преспокойненько предстала перед лицом знакомой уже комиссии.

К моему удивлению, меня узнали сразу.

— Что ж это вы, девушка, так долго не приходили? — поинтересовался председатель.

— Готовилась, — угрюмо ответила я.

— Раз готовились, то мы вас принимаем, — последовал ответ.

Я не могла поверить своим ушам и еще несколько минут простояла, ожидая вопросов. В это время вызвали уже Чебурека и спросили, почему он хочет вступить в комсомол.

— Взносы хочу платить, — брякнул Чебурек.

Ему велели сесть, что он с радостью и сделал.

— А вы, девушка, почему стоите? — обратился ко мне один из членов комиссии. — Садитесь, не отвлекайте нас.

За столом хмыкнули. Женщина, которую я помнила с прошлого раза, с укоризной покачала головой.

Вскоре процедура по принятию была завершена. Допрашивать особенно было некогда. И так было ясно, что никто ни в зуб ногой, а выпустить из школы такое количество некомсомольцев было невозможно. Мы распрощались с комиссией, и та сердобольная женщина проводила нас к выходу.

— До свидания, — улыбнулась я ей на прощание, помня добро, которое она пыталась сделать.

— Да ты не сердись, — сказала она мне тихо. — Они просто еще раз посмотреть на тебя хотели, оттого и завалили. Шутнички! Не ожидали, что ты только через два года заявишься.

М-да...

А через год мне вновь пришлось столкнуться с подобным шутничком. Но я уже была научена горьким опытом. Он преподавал у нас на курсе научный коммунизм. По причинам, никому не понятным, он решил завалить меня на экзамене. Хотя я на все лекции ходила и на все вопросы ответила. Ни с того ни с сего он назначил мне переэкзаменовку, причем единственной на курсе и вдобавок в какое-то сумеречное время. Тут и всплыла в памяти история со вступлением в комсомол. Недолго думая, я побежала к декану, расчудесному Ивану Михайловичу, тепло относившемуся к моим родителям, и поведала ему про беспочвенную переэкзаменовку. Дузь, увидевший мою зачетку, в которой стояло «отлично» по каждому предмету, рассвирепел и вызвал к себе этого несчастного.

Через несколько минут профессор по-свойски вошел в кабинет и, широко улыбаясь, поприветствовал декана. Я сидела в уголке, и он не заметил моего присутствия.

— Вызывали, Иван Михайлович? — бодро осведомился он.

— Вызывал, — подтвердил с недобрými интонациями в голосе Дузь. — Ты что ж это наших лучших студенток в ряды политически безграмотных записываешь, факультет позоришь?

Профессор опешил, не понимая, шутит ли Дузь — известный любитель розыгрыша — или говорит всерьез.

— Каких студенток? — спросил он, запинаясь.

Дузь вместо ответа указал по направлению закутка, в котором сидела я.

Профессор удивленно повернулся в мою сторону, и лицо его мгновенно стало багровым.

— Узнаешь? — с издевкой осведомился Дузь.

Профессор кивнул и откашлялся.

— Так в чем проблема? Она что, против марксизма-ленинизма что-то имеет или не знает азов научного коммунизма?

— Да нет...

— Не понял. Да или нет? Занятия посещала? Конспект вела? По билету ответила? Профессор на каждый из поставленных вопросов отвечал кивком.

— Значит, у тебя нет претензий?

Профессор отрицательно мотнул головой.

— Ну и прекрасно. Оставь зачетку и приходи завтра, — велел мне Дузь. — Отцу привет передавай.

Я поблагодарила и быстро вышла.

— Понимаешь, — сказал мне Дузь на другой день, — его племянник захотел жениться на какой-то девице, а семья была против. Кто эта девица, он не знал. Ему только сказали, что с вашего курса. Ну он и подумал на тебя. Не сердись! Зачетку не забудь взять у секретаря.

Я отправилась к секретарю за зачеткой, размышляя по дороге о происшедшем. Подумал на меня? Хм... С чего бы это? А на четвертый палец правой руки посмотреть слабо было? У меня там, между прочим, обручальное кольцо красовалось, и замужем я с семнадцати лет, что легко было бы в деканате узнать. В общем, так это было или не так и был ли мальчик, не знаю, но в зачетке стояло «отлично». Причем заслуженно.

ПРИКИД

Если бы нас попросили описать Крищенко, то большинство сошлось бы на эпитете «матерый». За партой он сидел один и так, словно подгробал ее под себя. Его локти лежали на всей поверхности, рассчитанной на двоих, а сиденье он занимал только свое, так как был хоть и плечистым, но поджарым. Синеокий златогривый парубок мог бы вскружить голову любой старшекласснице, но никто из наших взрослеющих девиц не положил на него глаз. Даже наоборот. Крищенко не вызывал ни малейшего интереса. Он словно был вытесан из дерева, и дубовость настолько проступала наружу, что даже никто из мальчишек не пытался с ним подружиться.

Во время урока Крищенко сидел, опустив вихрастую голову додолу и опираясь кулачищами о парту. Какие вихри кружили в его голове, никто не знал. И так бы и ушел он из истории, если бы вдруг не запала на него одна малолетка из седьмого класса.

Бублик была из неблагополучной семьи, и вид у нее был какой-то сиротский. Когда она впервые заглянула в наш класс после уроков, никто и близко не поставил ее рядом с Крищенко. Но оказалось, что именно его она и дожидалась. Может, это внимание, с которым мы поглядывали на гостью у дверей, так подействовало, только Крищенко не ответил на радостную улыбку Бублик. Он не спеша собрал свои вещи в портфель и угрюмо вышел из класса. Бублик последовала за ним. Они молча прошествовали по коридору к лестнице, и впечатление было такое, словно Бублик собиралась понести его портфель.

— Ну как вам эта детка? — спросила Курица.

Мы с Риткой только плечами пожали. А что тут можно было сказать? Детка как детка. Худенькая, неприметная.

Но Курица не успокаивалась.

— Нет, вы только посмотрите! Она его прямо глазами поедает. Проходу не дает. Дура малолетняя!

— А тебе-то что? — рассердилась Ритка.

— Как что? — Курица обиженно заморгала и еще больше нахохлилась.

Но доводов никаких в свою пользу не привела.

После этого Бублик стала дожидаться Крищенко каждый день у порога класса. Он выходил, по своему обыкновению, даже не взглянув в ее сторону, и брел прочь от оканного места обучения. А Бублик окрыленно семенила за ним, не отставая ни на шаг. Говорили ли они о чем-то наедине? Ответить на этот вопрос было сложно. С Крищенко никто никогда ни о чем не разговаривал, и было ли вербальное общение с ним в принципе возможно, оставалось загадкой.

Всякий раз, как силуэт Бублик вырисовывался за дверью, Курица демонстративно фыркала и хлопала крышкой парты. Мы только плечами пожимали, видя такую странную реакцию. А Бублик однажды, когда Курица выходила, возьми и поздоровайся с ней. Курица поначалу даже оторопела. Она уставилась на Бублик, которая была на голову выше, и, кивнув в ответ на приветствие, спросила, смягчившись:

— Детка, ты Крищенко ждешь?

Бублик немедленно подтвердила и прибавила еще более дружелюбно:

— А я Люся. Я из седьмого «В». Бублик моя фамилия.

— Бублик так Бублик, — буркнула Курица, ища нас глазами. В этот момент подошли мы.

К Люське мы прониклись почти сразу. На переменах она стала приходить к нам, мы кормили ее бутербродами и фруктами, которых стали брать с каждым разом все больше. Крищенко отпраивался то ли в буфет, то ли в туалет, никогда не подходил к нам и не обменивался приветствием с Бублик.

— Он такой одинокий! — вздохнула Бублик, поглощая наши угощения.

А мы смотрели на ее заштопанные колготки, на стертые носки коричневых туфель, похоже маминых, на лоснящиеся локти ее школьной формы и все больше проникались к ней материнской жалостью.

Люська стала для нас чем-то вроде дочери полка. Мы учили ее уму-разуму, помогали с домашним заданием и несколько раз приглашали на посиделки после уроков. Но она со вздохом говорила, что Крищенко категорически против и что после уроков они проводят время только вдвоем.

У Люськи было очень тяжелое положение дома. Ее отец был слесарем или сантехником, он постоянно пил, бил маму и не позволял дочери никуда ходить после школы. Он, конечно, был не в курсе, что дочь его встречается со старшеклассником, иначе он быстро бы голову ей отвинтил, но Бублик вела себя не по летам предусмотрительно. К шести вечера она всегда была дома с раскрытым учебником на столе и с тетрадь, в которой писала задание. Мать Люськи работала швеей в каком-то цехе и тоже приходила домой лишь вечером или вообще утром, если шла в ночную смену. Так что дома у Люськи все было схвачено.

Нас интересовало только, где ошивается Бублик с Крищенко до прихода ее родителей, но на наш вопрос Люська уклончиво отвечала, что они гуляют в парке.

Однажды Люська не явилась ни на перемене, ни после занятий. Мы, как всегда, притащили ей полные ранцы вкусностей, которые самим же пришлось и съесть. Мы заволновались. Вчера еще она была здорова и уплетала все за обе щеки.

— Может, что-то несвежее съела? — предположила я.

— Откуда у нас несвежее? — возмутилась Курица. — Просто обожралась, вот и все. Нужно поменьше приносить.

На следующий день мы пришли почти налегке, решив не перекармливать Люську. Но не перекармливать было некого. Ее снова не было в школе.

— Да что ж это такое, в конце концов! — возмутилась Курица. — Чувиха, можно сказать, исчезла, и даже навести справки негде!

Мы внимательно изучали Крищенко, чтобы по виду определить, знает ли он что-то, но он сидел, как чурбан, и по нему ничего нельзя было понять. И спросить тоже мы не решались, потому что с Крищенко мы не общались и не знали, как подступить к нему с вопросом.

Решили подождать до завтра.

Но и назавтра было все то же. Бублик словно сквозь землю провалилась, а Крищенко сидел еще более угрюмый, чем обычно, и это уже было подозрительно.

Наконец Курица решила взять дело в свои руки. Когда классы закончились, она подошла к его парте, взглянула боком и спросила базарным тоном:

— Слышь, ты, где Бублик?

Крищенко посмотрел на нее исподлобья с нарастающей ненавистью, но ничего не ответил.

— Ты что, оглох? — не унималась Курица, пользуясь тем, что он сидел, а она стояла и была с ним вровень. — Люська где?

— Да пошла ты, — процедил сквозь зубы Крищенко и поднялся во весь свой динозаврический рост.

— Вот падла, — не растерялась Курица. Но он уже вышел из класса.

— Слушай, ну почему ты не спросила его по-человечески, — стала выговаривать ей Ритка. — За что ты его так ненавидишь?

— Я ненавижу его за то, что он — Крищенко. А он ненавидит меня за то, что я — Штокман, — отрезала Курица.

Дело пахло керосином. Где жила Бублик, мы не знали точно, а спросить было не у кого. Единственная надежда была на то, что Крищенко отправился после уроков к ней, и если проследить за ним, то можно было бы напасть на ее след.

Мы энергично двинулись вперед, как поисковая группа, и вскоре вдалеке замаячила долговязая фигура Крищенко. Ага! Значит, мы на верном пути! Только бы он нас не заметил. Но он и не думал смотреть по сторонам. Мысль о том, что кто-то мог бы проследить за ним, явно не приходила ему в голову. Он брел, глядя перед собой, сосредоточенный на своих неповоротливых думах, пока мы, замедлив шаг, переходили с одной стороны улицы на другую, прячась за деревьями.

Крищенко шел по направлению к парку. Что он там забыл? Мы переглянулись. Мысль о зарытом где-то под деревом труп Бублик промелькнула у всех одновременно.

— Фашист, — процедила сквозь зубы Курица.

Мы приостановились, не зная, как быть дальше. А что если он так расправится с каждой из нас?

Мы сбавили скорость, раздумывая, продолжать ли слежку или повернуть назад от греха подальше, но тут из-за кустов перед входом в парк выскочила Бублик. Она была в какой-то жалкой серой вязанке, не защищавшей ее от ветра, и все время ежилась. Даже издали было видно, что под левым глазом у нее приличный фуфляк.

Вздых облегчения пошевелил ветку дерева, за которым мы стояли.

Тем временем Крищенко поспешно подошел к ней и обнял ее за плечи, что-то приговаривая. Бублик судорожно вцепилась в него и разрыдалась прямо в жилетку. Он продолжал обнимать ее одной ручищей, а второй нежно гладил по волосам.

— Сволочь! — вырвалось у Курицы.

— Кто, Люська? — спросила Ритка.

— При чем тут Люська? Он поставил ей фуфляк под глазом, а теперь прощения просит. А она, дура, еще и простит его.

Крищенко снял с себя шарф и обмотал вокруг Люськиной шеи.

— Как пить даст, простит, — с ненавистью прошептала Курица. — Нужно вправить ей мозги, а то он так и будет над ней измываться.

Решено было дожидаться, когда Крищенко уйдет, и поговорить с Бублик.

Свидание продлилось недолго. Бублик мерзла и отказывалась идти в парк. Крищенко грел ее тонкие руки у себя в ладонях и продолжал в чем-то убеждать. Наконец она сняла с себя шарф, обхватила Крищенко за шею, чмокнула в лоб и побежала к дому. Какое-то время он стоял с шарфом в руках и смотрел ей вслед, а потом повернул в другую сторону и скрылся за углом.

Мы спешно отправились за Бублик, опасаясь, что она скроется из виду и мы так и не узнаем, в какое парадное она юркнула. Вскоре мы настигли ее, и когда она собиралась уже войти в подъезд своего дома, подлетели к ней, окружив ее с трех сторон. От неожиданности Бублик вскрикнула, не успев прикрыть лицо.

Глаз у нее здорово опух и губа тоже.

— Кто это сделал? — с лету спросила Ритка, глядя ей прямо в глаза.

Бублик замялась.

— Короче, — решительно сказала Курица. — Сегодня притяну мазу, и этому чмо мало не покажется.

Бублик побледнела.

— Ой, не надо... Он больше не будет...

— А ты и уши развесила!

Бублик опустила голову и поежилась.

— Люська, не будь дурой, — строго сказала Ритка.

— Бублик, не дури! — поддержала ее Курица.

У Люськи слезы навернулись на глаза, но порыв ветра мгновенно осушил их. Она поежилась.

— Ну, ладно, — смилостивилась Курица. — Давай иди уже, а то еще заболеешь. И лед прикладывай, чтоб отек спал. Завтра поговорим.

Люська всхлипнула и проскользнула в подъезд.

На следующий день она уже появилась в школе, сообщив учительнице, что упала с лестницы. На перемене она прибежала к нашим дверям. Мы вышли к ней с полными торбами яств, а Крищенко по-прежнему сидел и жевал свою угрюмую думу.

— Зверье, — отреагировала на него Курица. — Не, у меня так и чешутся руки мазу на него притянуть.

— Ты же обещала, — напомнила я, — кивнув на Люську, которая испуганно слушала Курицыны угрозы.

— Ладно! Нехай пока отдыхает. Все равно ему капец, — добродушно отступилась Курица.

Начиная со следующей недели Крищенко окончательно ушел в себя. Сколько Бублик ни приходила, он делал вид, что не замечает ее. Она жалко переминалась с ноги на ногу, потом бежала к нам, заламывала руки, рыдала, говорила, что любит его, что хочет быть с ним и что сойдет с ума, если он не вернется.

Мы утешали ее, как могли, предлагали поговорить с Крищенко, но она наотрез отказалась от нашей помощи.

— Он должен сам, сам... — всхлипывала она, затагиваясь сигаретой в закутке школьного двора, куда все бегали на перекур.

Положение было безвыходным, драма нарастала, и тогда Курице вдруг пришла в голову счастливая мысль.

— Ты ему должна отомстить! — сказала она во время очередного перекура.

У Бублик мгновенно просохли слезы.

— А как? — спросила она оживленно.

— Закадри кого-нибудь, да так, чтобы он об этом узнал.

— А кого? — Похоже, идея Люське понравилась.

— Может, Чебурека? — предложила Ритка.

Я поморщилась.

— Ну тогда давай твоего Сабоню, — сказала Курица.

— Почему это он мой? — вспыхнула я. — У нас вообще с ним ничего не было.

— Ну так тем более.

Идея с Сабоней меня резанула. Курица прекрасно знала, что он мой, хоть мы и не встречались. Ей было просто завидно, что Сабоня постоянно крутился вокруг меня тогда, когда ей самой приходилось крутиться вокруг своего Юрочки.

— И как это, интересно, ты собираешься их свести? — поинтересовалась я.

— Как? Да запросто!

Бублик слушала с огромным интересом.

— На аллеюку придешь? — спросила у нее Курица.

— Когда?

— Сегодня вечером.

— Так ей же отец не разрешает никуда ходить, — напомнила я.

— Ой, не крутите мне мозги! Не разрешает он ей! Да он уже пьяный храпит после восьми. Так, Бублик?

Люська кивнула.

— Ну так приваливай.

В условленное время мы пришли на аллеюку, что на Куликовом поле.

Куликово было местом романтических свиданий, интриг, состязаний в остроумии и драм подросткового периода. Жизнь при дворе какого-нибудь Людовика Наццато-го вряд ли была насыщенной, чем эта, которая нет-нет да и вторгается без предупреждения в какой-нибудь из сегодняшних снов. Здесь собирались из разных школ, выясняли отношения, мирились, ссорились. Здесь сталкивались различные группировки, происходили драки и перепалки наподобие тех, что озвучивали древние улицы Вероны. Все разыгрывалось на глазах у других подростков, бурно реагирующих свистом, хохотом, выкриками и даже аплодисментами.

Вдали высился темный, внушительный и мощно укрепленный, как Рейхстаг, Дом профсоюзов. Мама по долгу службы нередко посещала его, а мы с одноклассниками ошивались там по вечерам на аллеюке перед площадью. С закатом здание напоминало античный театр, и все, что происходило на аллеюке, смотрелось как театрализованное представление.

Говорили, что после войны Куликово было довольно мрачным местом, где ранним утром и поздним вечером опасались ходить из-за ожесточенных пацанских драк, стенка на стенку. И называлось оно «Куликовское кладбище». В наше время на Куликовом уже было красиво, цивилизно, росли ели, цвели клумбы, находился роддом, и на вопрос, откуда я взялась, мама отвечала, что с Куликова. Про Куликово я слыхала от взрослых в связи с битвой, но поскольку исторические подробности мне были еще неведомы, я считала, что поле называется «Кулаковым», и была убеждена, что родилась в разгар кулачной битвы.

С наступлением сумерек аллеюка стала заполняться подростками. Они занимали группками скамейки, играли на гитаре, курили, травили анекдоты.

Мы сидели на нашем месте и ждали своих.

— Йокаламене! Ты глянь, что творится! — вдруг присвистнула Курица, затушив окурок и тыча пальцем в просвет аллеюки.

Мы повернули головы и в неверном свете фонарей увидели Бублик, цокающую на высоких каблуках, в блестящей юбке и переливающейся майке. Ее колеблющаяся фигурка в ореоле блесков выглядела фантазмагорически.

Мы ахнули.

Бублик подошла и скромно остановилась у скамейки.

— Ну, ты даешь! — подивилась Ритка.

— Пока некому, — брякнула Курица. — Щас придет.

Было видно, что настроение у нее резко переменялось. Как пить дать она подумала, что такая краля может запросто отбить у нее Юрочку. Мы с Риткой давно уже раскусили ее ревнивую натуру и усмехнулись.

— Ты чего? — толкнула я Курицу в бок.

— А ничего. Вот Сабоня твой пожалует, тогда сама и посмотришь чего.

— Вот стерва! — выругалась Ритка, закуривая.

К кому это относилось, мы так и не успели выяснить. Из-за деревьев вырисовались Сабоня, Сокол и Чебурек.

— Привет, ромашки!

— Привет, огурцы!

— Что-то я смотрю, у нас тут иллюминации прибавилось, как на Новый год! — сострил Сокол, оглядывая Люську.

Бублик робко улыбнулась и покосилась на Сабоню. Сабоня даже не взглянул в ее сторону. И в мою тоже. У нас это продолжалось уже год, с того момента, как он пришел к нам в класс. Мы не здоровались, не разговаривали, даже не смотрели друг на друга при встрече, только искоса переглядывались. Со всеми остальными Сабоня был мил и разговорчив, любил пропустить анекдот и посмеяться хорошей шутке. А со мной — как воды в рот набрал.

— Ну что? Как тут все? — спросил Сокол, пытаясь завязать беседу, которая никак не завязывалась.

— Все спокойненько, — ответила Ритка, затягиваясь сигаретой. Только она так красиво умела затягиваться, а потом выпускать дым.

Ритка могла бы запросто задать тон разговору, но почему-то не пожелала это сделать. Она по-прежнему картинно выпускала кольца, заставляя всех тупо смотреть, как они таяли в воздухе. Говорить было явно не о чем. Я быстро смекнула, в чем дело. Она просто хотела, чтобы они поскорей убралась вместе с Сабоней — до того, как Курица предпримет попытку свести его с Люськой. Вот что значит настоящая подруга!

Курица нахохлилась и никак не могла взять инициативу в свои руки. Когда она злилась, мозги ей отказывали.

Мальчишки потоптались еще немного, перебросились парой слов и, попрощавшись, ушли.

Я торжествовала.

— Куда ты, думаешь, они двинули? — спросила Курица Ритку.

— Да никуда. По домам. Холодно уже.

Бублик продолжала стоять, освещая скамейку.

— Бублик, не маячь, — сердито прикрикнула на нее Курица.

Люська удивленно заколебалась феерическим сиянием.

— Да сядь же ты! — вдруг резко скомандовала Курица.

Люська от неожиданности чуть не подвернула ногу и плюхнулась на скамейку.

Курица встала прямо перед ней, подбоченясь.

— Слышь, ты, Золушка, откуда такой прикид?

Люська взглянула на нее исподлобья.

- Выкладывай! Я же не адиетка. Не слезу с тебя, пока все не расскажешь.
Люська всхлипнула.
- Курица, чего ты к ней пристала? — возмутилась Ритка.
- Не мешай! — зыркнула она на Ритку и повернулась к Люське: — Колись давай, кому сказала! Бекицер!
- Люська разрыдалась.
- Тише, Люсенька, не плачь, — с легким злорадством продекламировала я.
- Ритка укоризненно посмотрела на меня.
- Да ладно тебе...
- Курица тем временем не отступала, вытаскивая из Люськи подробности появления прикида.
- Из всхлипывающих обрывков Люськиных слов постепенно вырисовывалась драма последних недель. Курица тщательно отжимала воду, которую Люська щедро лила, и склеивала фразы так, чтобы не было сомнительных пробелов.
- Так, еще раз: чего ты к нему поперлась? — уточняла она.
- Он... он меня позвал... — всхлипывала Люська.
- Бублик, ты же сказала, что он тебя у парадного встретил со шмотками!
- Ну да, у парадного... Сказал, что привез жене и матери из рейса кое-что, на всех оказалось мало, а на такую шкилю, как я, должно быть как раз. Я ему сразу сказала, что мы бедные, купить ничего не можем. А он: да я же по-соседски, я же тебя с пеленок знаю, так дам. Ну и дал. Ну я и взяла.
- Ну и дура!
- Так я ж ничего... Я домой пошла с мешком. А он вслед: не забудь зайти показать-ся. Я и зашла...
- На этом месте у нее начался пароксизм истерики. Дальше все было настолько банально, что в уточнениях не нуждалось. Сосед к ней стал приставать, а она сопротивлялась, он ее избил, но ничего с ней не сделал. А перед тем как вытолкнуть, пригрозил, что если она кому слово скажет, то заявит на нее в милицию, скажет, что она его обокрала.
- Так это он тебя избил? — наконец дошло до нас.
- Ну, да... Он... А кто же еще...
- А чего ж ты на Крищенко телегу катила?
- Я не катила... Это вы сами так подумали... А я что? Я ж не могла никому ничего...
- А Крищенко ты что сказала?
- Что отец пьяный пришел и побил...
- А отцу что наплела?
- Что ногу подвернула и с лестницы свалилась...
- А потом что было?
- А потом Крищенко мой к нам домой заявился с отцом отношения выяснять... Отец уже как раз спал... А он: пойдн разбуди, он права не имеет... Замуж стал звать сразу после школы... — Тут она зашлась новым порывом проливных слез.
- Ну? — не отставала Курица.
- Ну я и рассказала ему все, как было...
- А он?
- Подкараулил хрыча и так вмазал ему, что...
- Вокруг скамейки уже собралась группка слушателей.
- Ладно, хватит, — прервала ее Курица. — Ну чего уши развесили? Малолетка она, несмышленная еще!
- Мне на прошлой неделе уже четырнадцать исполнилось, — неожиданно сообщила Люська сквозь просыхающие слезы.

Ее сдержанно поздравили и пожелали как можно меньше фуфляков на будущее.

— Ладно, пошли уже. Представление закончено! — рывкнула Курица, раздвигая группку.

Пока мы провожали Люську, она все рассказывала о Крищенко, о том, как она его любит, как жить без него не может.

— А чего ж ты эти шмотки тогда на себя напялила? — не выдержала Курица. — Ну пошла бы себе на аллею как человек! Так нет — вырядилась черт-те во что. И для кого?

— Для кого? — переспросила я.

— Ни для кого. Просто покрасоваться захотелось, — грустно сказала Люська. — Я ведь с Крищенко никогда этого не смогу надеть. — Она вздохнула так глубоко и так горестно, что у нас сжалось сердце еще больше, чем от ее истории. Конечно, иметь такой прикид и никогда его не надеть — это запаadlo. Тут уж второго мнения быть не могло.

Всю дорогу мы думали о том, как быть с прикидом, и так увлеклись, что чуть было не прошли Люськино парадное.

— Ладно, Бублик, не грусти, — на прощание сказала ей Курица. — С прикидом мы что-нибудь придумаем.

— Правда? — свет надежды блеснул в Люськиных опухших от слез глазах.

— Зуб даю! — поклялась Курица.

Счастливая, Люська побежала домой.

Вопрос о том, как быть с Крищенко, отошел пока на задний план.

ШКОЛЬНЫЙ ДЕКАМЕРОН

Если в девятом классе появляется новенькая, да еще и хорошенькая, то дальнейшее прочитывается без труда. Мальчишки будут скручивать головы во время урока, подмигивать и лыбиться, тупо заигрывать на переменах, ну и все в том же духе. Девчонки, наоборот, будут долго присматриваться к новенькой, скрупулезно обсуждать ее между собой и пытаться понять, впишется ли она в общую компанию. Дальнейшее будет зависеть от новенькой.

Сероглазая новенькая на все это шебуршение вокруг себя не обращала никакого внимания. На уроках она сидела, старательно выводя задание в тетради или внимательно слушая объяснения учителя, а у доски вела себя застенчиво, хотя урок всегда знала твердо и отвечала без запинки. Она явно старалась не выделяться, и к ней, наверное, скоро бы привыкли и перестали замечать, если бы не ее фамилия.

Когда она появилась в классе, учительница представила ее:

— Знакомьтесь, это наша новая ученица Анна Грехова.

Грехова опустила глаза и заняла свое место.

В классе прошел шепоток.

В сочетании со скромным поведением, пепельными локонами и тонкой талией эта фамилия только утроила интерес к новенькой.

Грехова существенно отличалась от всех нас. Во-первых, она приехала из Германии. По этому случаю, когда она получила свою первую пятерку за блестящий ответ у доски, продемонстрировав глубокие знания в литературе, Зелинский прокомментировал:

— Он из Германии туманной привез учености плоды!

— А дух? — поинтересовался Сокол.

— Пылкий, — заверил Зелинский. — Но довольно странный.

Мальчишки заулюлюкали. Сусанна Ивановна погрозила им пальцем, подавляя улыбку:

— А ну цыц! Распетушились тут, любители Пушкина.

Грехова тихо села на место, не глядя ни на кого, и было неясно, понравилась ли ей эта импровизация или нет.

Во-вторых, отец Греховой был военным в каком-то высоком звании. Возможно, это отразилось на поведении Греховой, которая железно выполняла все распоряжения учителей, не отступая от школьного распорядка ни на йоту.

И, в-третьих, у Греховой была своя комната. Такой роскоши не было ни у одного из нас.

— Ну я понимаю еще отдельная кухня, но чтобы отдельная комната! — не могла успокоиться Феля всю дорогу после посещения Греховой.

К Греховой мы заявили, чтобы пригласить ее отпраздновать Восьмое марта у Фели дома. Грехова открыла нам двери в каком-то длинном шелковом халате невероятной красоты, который подчеркивал ее грешные формы, и пригласила войти, извинившись за беспорядок.

Порядок там был идеальный, с нашей точки зрения. Застала бы моя мама такой беспорядок, нечаянно нагрывнув с работы раньше, я бы уже ходила в героинях до конца недели.

— Наверное, у нее тетрадка лежала повернутой не в ту сторону, — хихикнула Феля, пока Грехова вышла, чтобы принести нам чаю.

Чаю мы, честно говоря, не хотели, но это была единственная возможность посидеть у Греховой и понять, что она за штучка.

Когда Грехова заявила с подносом, на котором стоял чайник с чашками, мы не пожалели, что не отказались от угощения. К чаю прилагались невероятной вкусноты варенье в хрустальной пиале и ломтики лимона на крохотном фарфоровом блюдечке.

— Это твоя мама варила? — поинтересовалась Феля, попробовав варенье.

— Нет, это мы из Германии привезли. Вы ешьте, ешьте, у нас много разных сортов.

Такое гостеприимство нам пришлось по душе.

— Ну как там, в Германии? — осведомилась Феля, прихлебнув из чашки. — Лучше, чем у нас в Одессе?

Грехова покраснела.

— Да нет, что ты, совсем не лучше...

— Лучше, лучше, я же вижу, — подмигнула Феля, подкладывая себе варенья.

— Ничего не лучше, — совсем растерялась Грехова.

— Да ты не бойсь, мы никому не скажем, мы же сами немцы, — окончательно развеселилась Феля. — Ну, то есть из немецкой спецшколы. Будем хорошо учиться, и нас зашлют в Германию.

— Мы вот зачем пришли, — вклинилась я в разговор, чтобы не уходить далеко в сторону. — Мы хотим пригласить тебя на Восьмое марта. Сбор у Фели, часов в пять. Придешь?

— Можно принести с собой варенья, например, — прибавила Феля.

Грехова заерзала на стуле.

— Ой, нет, меня родители не отпустят... А варенье я и так дам...

— Да мы же не из-за варенья! — изобразила благородное возмущение Феля.

Грехова снова покраснела.

— Я не имела в виду ничего обидного...

— Ладно, давай варенье! — поспешно сказала Феля. — Я домой отнесу сегодня и в буфет поставлю. А вдруг тебя родители отпустят? Придешь и будешь свое варенье лопать.

Мы допили чай и распрощались с Греховой.

— Феля, ну что с тобой такое? — прошипела я, пока мы спускались по лестнице с банкой абрикосового варенья. — Зачем ты это варенье у Греховой взяла?

— Так она ж дала!

Я махнула рукой. Продолжать было бесполезно.

Седьмого марта мы явились в школу с небольшим опозданием, чтобы дать мальчикам возможность разложить все подарки. В этот день девочкам разрешалось приходить позже.

Больше всех подарков навалили Греховой.

— Вы что, поехали? — заорала Курица, завидя заваленную подарками парту Греховой.

— Так она ж новенькая, пусть порадуется, почувствует себя как дома, — усмехнулся Зелинский.

— Откуда ты знаешь, как она чувствует себя дома? — не унималась Курица. — Может, дома ее вообще держат в ежовых рукавицах.

— Тем более...

Тут появилась Грехова, и все замолчали. Она подошла к своей парте и растерянно посмотрела на горку с коробками и открытками.

— Ой, спасибо...— сказала она, краснея. Но к подаркам так и не притронулась до конца уроков. Она сидела одна, и подарки заняли ровно половину парты. После уроков Грехова сложила все в портфель, еще раз поблагодарила и оправилась домой.

— Так она придет отмечать восьмое или нет? — поинтересовался Кучер.

— А тебе что?— с вызовом спросила Ройтманша. — Для тебя это имеет значение?

— Ничего не имеет. Я просто спросил...

— Он просто подарил ей столько подарков, что сам забалдел и захотел еще раз испытать этот кайф, — вклинился Сокол.

Ройтманша зыркнула на него, заодно метнув молнии в Кучера, и возмущенно вышла из класса.

Кучер на самом деле был влюблен в Ройтманшу, но почему-то все подарки вручил Греховой. Перед этим он долго раздумывал, что же лучше подарить Греховой из купленного накануне, но никак не мог прийти к верному решению и беспрестанно менял одно на другое.

— Да скинь ты ей все вместе, — посоветовал Зелинский.

— Как все? А Ройтманше?

— А Ройтманше открытку и еще что-нибудь притащишь на восьмое.

Кучер последовал его совету. Теперь он об этом пожалел.

— Согласился на свою голову, — пробормотал он, глядя вслед разозлившейся пассив. — Ну так что, будет Грехова или нет? — уже гораздо смелее переспросил он, когда Ройтманша хлопнула дверью.

Все посмотрели на Фелю.

— А я откуда знаю? Мы ходили, приглашали... Она еще точно не решила...

Время двигалось к обеду, и нужно было на чем-то остановиться.

— Так, если кого-то не устраивает наша компания, может не приходиться, — заявила Ритка. — А мы собираемся завтра у Фели.

Все почувствовали себя неловко. Получалось, что все дело в Греховой. Даже смешно!

— Ну, хорошо, — наконец взяла бразды правления в свои руки Феля. — Я сегодня снова зайду к Греховой и поговорю с ней еще раз. А завтра вы узнаете, чем все закончилось.

Такая интрига всех очень оживила. Получалось как в триллере. Каждый захотел узнать, чем закончится разговор с Греховой, а значит, сбор не отменялся.

Феля предложила мне пойти к Греховой вместе, как в прошлый раз, и мы отправились вдвоем. Всю дорогу мы обсуждали эту ситуацию. Многие казались странным. Ну почему бы родителям Греховой не отпустить дочь провести Восьмое марта с классом? Мы ведь не бандиты какие-то, не уличные знакомые!

— Странно все это, — говорила Феля. — Ну я понимаю еще, если б они не знали, где будет гулянка. А тут мы им и адрес дадим, и дворы рядом. При желании они могли бы сами прийти и убедиться, что все нормально, приличный дом и все такое. Меня бы мои точно отпустили! Папа бы, конечно, провел меня, посмотрел бы что да как, но чтоб не отпустить родную дочь отпраздновать Восьмое марта, это уж слишком!

— Ну, не знаю... Может, у генералов так заведено все праздники с семьей встречать...

— Какой он генерал? Так, полковник, наверное, какой-нибудь.

— А почему не генерал?

— Пряма-таки пришлют к нам в Одессу генерала! Генерал должен армией командовать. А кем ему тут командовать в Одессе? Бабками с Привоза?

Звучало убедительно.

— Ну тогда почему, ты думаешь, не отпускают?

— А, может, у нее хахаль есть? — брякнула Феля и тут же хлопнула себя по лбу. — Ну, конечно! Как же я сразу не догадалась! Конечно, у нее хахаль! С ним она и встречает Восьмое марта. А все остальное — отговорки. Ты ведь сама видела, какая она скрытная. У нас, говорит, много разных сортов варенья, а сама только одну баночку принесла!

— А ты что, хотела, чтобы она тебе все сорта на стол выложила?

Мы уже вошли во двор, где жила Грехова, и Феля предусмотрительно приложила палец к губам, намекая на идеальную звукопроводимость одесских двориков.

Через пару минут мы звонили в дверь к Греховой.

Поначалу за дверью была полная тишина.

— Она что, из школы еще не пришла? — шепотом спросила Феля, явно заинтригованная.

Мы немного подождали и позвонили во второй раз. Послышались торопливые шаги по коридору, дверь отворилась, и на пороге появилась Грехова с полотенцем на голове.

— Ой, а я тут душ принимала, не слышала звонка, — сказала она извиняющимся тоном. — Вы проходите, не стойте на лестничной клетке.

— Да мы ненадолго, — сказала я, видя, что Феля уже готова почаевничать.

— Ничего, ничего, все равно пройдите!

Мы прошли в прихожую.

— Мы на минутку, — сказала Феля, преимущественно для меня. — Просто все интересуются насчет восьмого, придешь, или все-таки тебя не отпустят.

— Нет, никак не получится, — со вздохом сказала Грехова. — Мы все праздники обычно вместе отмечаем...

Ее серые глаза излучали такую печаль, что нам даже стало ее жаль.

— Ну, с родителями тоже неплохо, — пробормотала Феля. — Но если вдруг что, то приходи. Мы в пять собираемся. Вот адрес. Это через двор. — Она протянула Греховой бумажку с адресом.

— Спасибо... Если что, обязательно приду.

Мы покинули квартиру Греховой с чувством нарастающей неопределенности.

— Нет, что-то тут не то, — шептала Феля, пока мы спускались по лестнице. — И душ она принимает среди бела дня, и на праздники сидит с предками.

Нам осталось пройти один этаж, как входная дверь скрипнула и по лестнице стал взбегать молодой человек с огромным букетом в праздничной обертке. Мы слегка притормозили, он кивнул и промчался мимо.

Феля приложила палец к губам и на цыпочках стала подниматься наверх, показав мне жестом, чтобы я следовала за ней. Мы прошли совсем немного и остановились так, чтобы можно было видеть в лестничном пролете, в какую квартиру он направился.

Так и есть! Остановился у дверей Греховой и нажал на кнопку звонка. Мы выразительно посмотрели друг на друга.

Дверь поспешно отворилась, и послышался голос Греховой.

— Ой, привет! А я думала, это девчонки из класса что-то забыли. Проходи!

Мы услышали звук чмоканья, и дверь захлопнулась.

С пылающими щеками Феля вылетела из парадного, и когда мы очутились на улице, возбужденно затараторила:

— А что я тебе говорила! Что я тебе говорила! Я так и знала! Вот тебе и Грехова, вот тебе и праведница... А родители где? Где родители? На празднование с классом они ее, видите ли, не пускают...

Восьмое марта началось с бурных обсуждений этой новости. Выдвигались самые разнообразные версии. Разгоряченное воображение собравшихся подсказывало все новые и новые сюжетные повороты. Только Ольга не принимала участия, удивленно переводя взгляд с одного говорящего на другого, и осуждающе покачивая головой.

— Слушайте, а если это просто ее брат? — высказала предположение Кошелева.

— С веником? — хмыкнула Курица.

— Ну да! Принес цветы поздравить своих женщин. Что здесь такого?

— А поцелуй? — вмешалась Феля.

— Да какой там поцелуй! Чмокнулись в щечку, по-родственному, — сказала я.

— Я вас люблю любовью брата! — продекламировал Зелинский.

— Ну что вы, в самом деле! — не выдержала Минская, которая сидела молча, заложив ногу на ногу, и ждала, что хоть кто-то обратит на нее внимание. Она переживала кризис популярности, так как ее прекрасные ноги никого уже не волновали. К ним призывали как к части школьного интерьера.

— Да никакой это не брат, — сказал Сокол. — Это ее внебрачный сын.

— Какой по счету? — подхватил Зелинский.

— Ну началось! — закатила глаза Ройтманша, которая все еще не разговаривала с Кучером, хотя он принес ей в подарок духи. — Давайте уже к столу, что ли. А то скучно уже тут с вами. Жуете одну и ту же жвачку.

Ее предложение было встречено с воодушевлением.

— Пора жвачку на стол ставить! Брюхо уж свело от голода, — простонал Чебурек.

Прыткова резво вскочила с места и побежала на кухню выносить блюда к столу. За ней последовали и другие.

— И правда, лучше пожевать чего-нибудь съедобненького, чем пережевывать одни и те же домыслы, — согласился Зелинский и уволок Кошелеву.

— Да отстань ты! — сопротивлялась она, нехотя усаживаясь рядом с ним.

Все явно оживились. Комната наполнилась праздничной суетой. Запах копченостей и домашних блюд веселил и возбуждал предвкушением пиршества.

В дверь позвонили.

— Это еще кто? — спросила Прыткова, прибежав с кухни.

— Грехова! — выпалил Сокол.

Все грохнули.

— Так открывать или нет? — Прыткова ждала, готовая рвануть к двери.

— Беги открывай, — дала добро Феля.

Прыткова не мешкая помчалась в коридор. Послышался звук открывающейся двери. На пороге появилась Янка Гаусс с букетиком полевых цветов.

— О! Кофейня! Ты чего так поздно? — посыпалось со всех сторон.

— Да не поздно она. В самый раз — к столу, — сдохмил Сокол, намекая на плотную комплекцию круглой отличницы.

Стол уже был действительно накрыт. Соленая рыбка, огурчики, колбаска, оливье, селедка под шубой, даже форшмак и в придачу пирожки домашней выпечки.

— Подсаживайся сюда, — позвала Янку Феля. — Тут как раз еще одно место возле меня. Ты чего задержалась?

Янкины и без того всегда красные щеки вспыхнули обличительным румянцем. Феля моментально смекнула, в чем причина Янкиного опоздания.

— Это он тебе цветы подарил? — зашептала она, когда Янка плюхнулась на стул рядом с ней.

Янка кивнула. Феля игриво покосилась на цветы. О Янкином романе с водителем троллейбуса многие уже были наслышаны.

— Ну давай наваливай, — пододвинула она Янке селедку под шубой и пирожки.

— Как много у вас тут всего! Так и растолстеть немудрено, — пропела Кошелева, откусывая пирожок. — С картошкой! Мои любимые. — Откусив еще один малюсенький кусочек, она отодвинула пирожок на край тарелки.

— Лизунчик, кто-кто, а ты не должна волноваться за свою талию, — мурлыкал Зелинский, накладывая в тарелку оливье. — М-м-м! Вкусно! Кто настриг?

— Фелина мама, — откликнулся Фаш. — Риточка, положить тебе?

— Не надо, сама возьму.

— Ну почему ты никогда не позволяешь ему за собой поухаживать? — вмешался Зелинский. — Вот бери пример с Лизунчика. Она на меня плевала с десятого этажа, но от ухаживаний никогда еще не отказывалась. Да, Лизунчик?

Кошелева хихикнула.

— Вообще, люди, вы слишком придирчивы и любопытны, — продолжал Зелинский, наслаждаясь оливье. — Ну вот что вы тут решаете весь вечер?

— Мы решаем, кто Грехова — грешница или праведница, — ответил Сокол, жуя пирожок. — А у меня с капустой оказался! Тоже вкусно.

— Кто Грехова... — протянул Зелинский. — Вас всех этот вопрос почему-то ужасно интересует.

— А тебя что, не интересует? — спросила Феля, накалывая копченую колбасу на вилку.

— А меня, Офелия, это не интересует. Потому что грешник и праведник — это две стороны одной медали. И даже если Грехова пока что праведница, то со временем станет грешницей.

— А если она уже грешница? — поинтересовался Кучер, за что немедленно схватил подзатыльник от Ройтманши.

— А если она уже грешница, то, попав в нашу честную компанию, сразу станет праведницей.

— Ой, это почему же еще? — игриво спросила Кошелева.

— А потому, Лизок, что ты ее растлишь своим праведным поведением, а дурной пример, как ты сама понимаешь, заразителен.

— Ну сколько можно! Оставьте уже эту Грехову в покое! — не выдержала Ритка. — Мы что, пришли сюда Грехову обсуждать или отмечать Восьмое марта? Феля, врубай музыку!

Феля вопросительно посмотрела на остальных. Никто Ритку не поддержал.

— Ну как хотите, — чуть обиженно сказала Ритка и принялась за форшмак. — А форшмак, между прочим, моя мама сделала.

— Форшмак что надо, — подтвердил Фаш, потянувшись за второй порцией.

Феля все-таки включила музыку, но никто на это не отреагировал. Только Фаш сделал робкую попытку пригласить Ритку, но она так зыркнула на него, что он быстро сел на место.

— Лизок, да не напрягайся ты так! — с усмешкой приговаривал Зелинский, отбивая такт вилок. — Я тебя не собираюсь приглашать на танец. Нет ничего хуже напряженной партнерши. Мы, Лизок, танцевать не будем. Мы, Лизок, будем сегодня читать.

— Читать? — оживились все. — Что читать?

— А вот это мы сейчас решим. Офелия, у тебя, говорят, хорошая библиотека.

— Положим, — настороженно ответила Феля.

— А что бы ты посоветовала нам почитать в этот дамский вечер?

— Не поняла.

— Как бы тебе это объяснить... Понимаешь, праздник сегодня такой, женский, а все, что связано с женщиной, кроме Клары Цеткин, конечно, овеяно романтическим ореолом. Понимаешь, да?

— Ну? Короче.

— Если совсем коротко, то есть ли у тебя что-то такое... в тему?

— В нашей библиотеке только классическая литература, — строго сказала Феля.

— Да кто бы сомневался! В таком приличном доме другой литературы и быть не может. Да и мы бы не стали читать здесь сегодня какие-то подпольные сомнительные бульварные романчики. Правда, Лизок?

— Да отстань ты, — отмахнулась Кошелева.

— Так вот, Офелия, нет ли у тебя в твоих библиотечных закромах чего-то такого, классического? По теме, разумеется. — Зелинский хитро прищурился.

У Фели забегали глазки.

— Я так и думал. Ты уже просветилась в отсутствие родителей. Дай мне угадать... — Он прикрыл глаза ладонью. — Догадался! «Декамерон»!

У Фели челюсть отвисла.

— И не спрашивай, Офелия, откуда я знаю. Знать — это свойство моего организма.

— При чем тут организм?

— Очень даже при чем. И тому есть множество примеров в литературе, в том числе классической. Но это уже не по теме. А вот сегодня почему бы нам с тобой не просветить присутствующих и не поднять их общеобразовательный уровень чтением прекрасного романа? Смотри, танцы уже не актуальны, мы переросли эти забавы. Грехова себя исчерпала, по крайней мере на сегодня. А у тебя в библиотеке столько интересно! Не будешь же ты, как скупой рыцарь, сидеть на своих богатствах, не желая разделить с друзьями радость приобщения к золотому фонду мировой литературы? Почему бы всем нам не почитать здесь дружно за столом то, что являлось источником интеллектуального наслаждения стольких поколений, включая некоторых родителей и даже учителей?

Феля хихикнула.

— Рад, что ты разделяешь мой ход мыслей. Давай тащи сюда свои богатства, Офелия, будем наслаждаться все вместе.

Феля взглянула на часы.

— Предки приходят в девять. У нас есть два часа.

— Люблю точность, особенно в женщинах. Два часа — это прекрасно. Вполне хватит для заправки.

Феля встала из-за стола и через пару минут вынесла из отцовского кабинета прекрасно изданного «Декамерона». Раздались возгласы восхищения.

— Это почти что запретный плод, — изрек Зелинский, вращая в руках изящное издание. — Предупреждаю заранее, кто не хочет ступить на стезю разного рода осложнений, типа нахлынувших внутренних противоречий и тому подобное, может углубиться в поедание незапретных плодов кулинарии. Итак, все готовы? Ну-с, приступим.

Он раскрыл книгу и начал читать, как заправский чтец. Никто из присутствующих и не подозревал в нем подобного артистизма.

— С моей ранней молодости и по сю пору я был воспламенен через меру высокою, благородною любовью, более, чем, казалось бы, приличествовало моему низменному положению, — если б я хотел о том рассказать; и хотя знающие люди, до сведения которых это доходило, хвалили и ценили меня за то, тем не менее любовь заставила меня претерпевать многое, не от жестокости любимой женщины, а от излишней горячности духа... Это прямо про меня и про тебя, жестокий Лизок... — Кошелева пожала плечами. Зелинский продолжил и, дойдя до части о прелестных дамах, воскликнул: — О, а вот и про нашу Грехову! Связанные волею, капризами, приказаниями отцов, матерей, братьев и мужей, они большую часть времени проводят в тесной замкнутости своих покоев и, сидя почти без дела, желая и не желая в одно и то же время, питают различные мысли, которые не могут же быть всегда веселыми.

— Почему обязательно про Грехову? Она, между прочим, не сидит без дела. Она учится хорошо, — вспыхнула Ритка.

— Ну мы же не можем сравнивать все буквально, — вступилась Кофейня. — Тогда было такое время, сейчас другое, а родители всегда вели себя одинаково.

— Правильно, Яночка, — улыбнулся Зелинский. — Это больше даже про тебя, чем про Грехову.

Янка стала пунцовой.

Комментарии Зелинского неожиданно поставили знак равенства между героями «Декамерона» и присутствующими. Никто и не представлял себе, что произведение, написанное в четырнадцатом веке, может быть таким современным в плане проблематики. Становилось все занятнее и занятнее. Зелинский, который был явно знаком с текстом и проработал его не раз, читал выборочно, иногда даже в лицах, и это было поинтереснее любого спектакля.

Когда до прихода родителей оставалось всего полчаса, он прервал чтение и сказал:

— Ну вот, теперь каждый из вас может почитать из этой книги самостоятельно. Если Офелия, конечно, позволит. А я предлагаю вот что. Давайте-ка и мы устроим свой собственный Декамерон.

— Это как? — поинтересовался Сокол.

— А так. Будем собираться на школьном дворе и рассказывать друг другу истории в течение десяти дней.

— Откуда же мы их возьмем, эти истории? — робко спросил Фащ, косясь на Ритку.

— Из головы, например, — фыркнула Ритка.

— Или из собственной жизни, — добавил Зелинский. — Или из чьей-нибудь еще жизни. Имена можно менять, можно и присочинить что-то, если это придаст интереса истории. Ну как, согласны?

— Обдумать нужно, — сказала Минская.

— Антуанетта, ну что тут обдумывать? Вот ты у нас и будешь королева первого дня. У тебя, наверно, много чего интересного накопилось.

— Почему вдруг я? Назначь Кошелку, — попыталась сделать вид, что недовольна, польщенная Минская.

— Нет, Лизунчика мы оставим на закуску. А начнем с тебя, королева, — Зелинский вкрадчиво улыбнулся. Минская улыбнулась в ответ. — Ну вот и прекрасно. Завтра после школы на школьном дворе. Явка обязательна. Только объяви нам тему сейчас.

— Ммм... Жизнь в коммуналке, — сказала Минская.

Все одобрили моментально, и в этот момент послышался звук ключа в замочной скважине.

Феля выхватила книгу из рук Зелинского, умчалась, чтобы поставить ее на полку, и через секунду примчалась назад.

В комнату вошли Фелины предки. Они явно не ожидали, что мы еще сидим, и были приятно удивлены.

— Здравствуйте! — поприветствовали мы их дружно. — С праздником!

— И вас с праздником, девочки! — ответил Фелин папа. — А что это вы без музыки, в тишине? Мы были уверены, что все уже разошлись.

— А мы уже уходим, — заторопились мы, вставая с мест и убирая со стола.

— Да нет, ну что вы, гуляйте себе на здоровье, — пыталась остановить нас Фелина мама, но мы уже вынесли все на кухню и стали собираться.

— Спасибо за вкусное оливье и все, что вы приготовили, — поблагодарили мы родителей и покинули Фелин гостеприимный дом, с шумом сбегая с лестниц.

На следующий день после занятий мы встретились на школьном дворе, как условились, в руинах недостроенного физкультурного зала, о котором некогда мечтал бывший физрук Валерий Степанович. Руины были в каком-то смысле обустроены — до нас тут старшекласники сладили сиденья и даже притащили из буфета несколько столов на выброс. Здесь можно было сидеть незамеченными, так как стены были высокими и закрывали то, что делалось внутри, а деревья прикрывали все сверху раскидистыми кронами.

— Ну-с, с чего начнем? — спросил Зелинский, когда все были в сборе.

— Во-первых, с Минской, — сказал Сокол. — Раз она у нас тут королева сегодня, то нужно ее чем-то увенчать.

— Венок, что ли, на голову сплести собираетесь? — скривилась Минская. — Даже и не думайте! Тут всякие собаки бездомные шныряют, коты, а я вам буду на голову эти сорняки пялить! Нет уж, придумайте что-то другое.

— Правда, — согласился Зелинский. — Давайте другое.

— А что? Ну, что? — стали все спрашивать друг у друга наперебой.

— А вот что, — обдумав, сказал Зелинский. — Королева — это не только корона, но и трон. Давай-ка, Антуанетта, полезай вот на этот стол, а мы внизу на своих сиденьях примостимся и будем созерцать, как ты болтаешь своими прелестными ножками.

Минская улыбнулась и жеманно взгромоздилась на стол, свесив скульптурные ноги.

— Королева! — воскликнул Сокол.

— Давай начинай уже, королева, не тяни кота за хвост! — прикрикнула Курица. — Мне еще двойку по русскому исправлять надо.

Минская чуть откинулась назад, опершись ладонями на поверхность стола, и начала.

— Расскажу вам историю об одной коммунальной интрижке. Жил-был старый хрен. Лысый такой, скользкий и наглый до опупения. И жила-была девочка, ученица шестого класса, лялечка такая миленькая, ножки у нее, ну и все такое. Приличная девочка, приличная, ничего такого за ней не водилось, не подумайте. Но умненькая. Да, это не отнять! Не то чтобы задачки шелкала как орешки, тут у нее проблемки были, но во всем другом — смекалистая. Очень даже. А хрен был тупой, рыло свиное, жил со своей женой за стенкой. А девочка — со своей мамой. Ну, каждый день они, как водится, в коридоре встречались, здоровались. И расходились как в море корабли. А однажды девочка домой из школы пришла, а тут ей хрен двери открывает, лыбится. Она его игнорирует, идет прямо к своей комнате, а он возьми и спроси, есть ли у нее запасная шариковая ручка. У девочки, конечно, их было навалом, и она сказала, что есть. А хрен губу раскатал, чуть ли не захрюкал от радости. Стал протискиваться с ней в одну дверь, пыхтеть, что, мол, ручка ему позарез нужна. А жене он сказал, что ему поза-

рез нужен клей, и пока он протискивался за девочкой в ее квартиру, его жена преспойненько топала в канцтовары. Наконец они протиснулись. Девочка к столу подходит, берет ручку и спрашивает: такая подходит? А он хрю да хрю. А на фига вам, дяденька, ручка? — спрашивает. А он пот со лба вытирает, к разговорам явно не привыкший. А девочка к нему приближается. Он уже вообще в слюне захлебнулся, рожа свиная. А девочка его спрашивает: а одесский цирк, дядечка, вы, случайно, не любите посещать? Он башкой своей мотает, звуки всякие издает. Не пойму, говорит девочка, повторите. Так вы посетитель одесского цирка или нет? Он — да, мол, да. Совсем мозги отключил. Ну, говорит девочка, раз так, тогда ручку проверим, как она пишет. Приблизилась к этому козлу, на цыпочки встала, а он чуть наклонился, лапами в воздухе машет. А девочка как изловчится и как быстрым росчерком на лбу у него три буквы выведет! Ну, известную аббревиатуру про посетителя... Почерк у нее хороший был, четкий. Пятёрка по чистописанию в младших классах. Тут до хрена стало доходить. Он с ревом подскочил к зеркалу, увидел три буквы в зеркальном порядке и давай тереть себе лоб что есть силы. От букв избавиться хотел, лапка, до прихода жены. Только в той ручке паста была такая специальная, трудносмываемая. Ею можно было наковки имитировать. А тут как раз жена каблучками по коридору — цок-цок. Ищет своего хрена. А хрен как вылетит из девочкиной комнаты весь красный и со словом на лбу! А жена — ах ты, старый... И те три буквы выкрикивает. Меня за клеём услад, а сам... Тут она как выхватит бутылку с клеём из сумки да как выпустит содержимое хрену на голову! А хрен только мычит, словно у него рот заклеило. А потом пришла девочкина мама, сразу же вызвала милицию, подняла весь двор на ноги, и хрена того выперли к черту. А девочка с мамой теперь живут не тужат в этой квартире, и больше им никого не подселяют. В качестве компенсации.

Минская закончила, победоносно оглядев слушателей. Хоть мы и договорились заранее, чтоб никаких реакций, чтоб только слушать и все, но руины взорвались бурными аплодисментами.

— Ну, Антуанетта, ну ты даешь! — воскликнул Сокол. — А я и не знал, что ты такая опасная. Все думал, клеиться к тебе или нет.

Минская рассмеялась.

— Так, уговор дороже денег, — напомнил Зелинский. — Истории слушаем молча. Никаких вопросов, расспросов и обсуждений. Просто слушаем и мотаем на ус. Желание есть еще? Королева, ну, давай поспрашивай.

— Так ты же уже спросил за меня, — с блаженным выражением на лице откликнулась Минская, все еще купаясь в лучах славы.

Неожиданно руку подняла Ольга.

— У меня тоже есть история. Тоже про девочку...

— Опять про девочку? — забрюзжала Курица.

— Курица, заглохни! Ольга в кои-то веки решила с народом пообщаться. Могла бы уже и не высказывать, — оборвала ее Ритка.

— Слушай, если ты спешишь, то и иди себе, — огрызнулась всегда тихая Ольга.

Все укоризненно посмотрели на Курицу. Никакого сострадания! Даже к Ольхе! Мы хорошо помнили, что через год после смерти ее мамы отец привел в их коммунальную квартиру женщину, учительницу музыки, и они отправили Ольху жить в соседнюю комнату к бабушке. Бабушка была лежачая, а комната была проходная — через нее пролегал путь десяти соседей к своим комнатам. От них отгораживал только большущий шкаф и одеяло, которое нужно было приподнять, чтобы зайти в бабушкину комнату, как в юрту. Никому такого не пожелаешь...

— Ладно, Ольга, не сердись, — смутившись, сказала Курица. — Рассказывай давай...

Ольха покачала головой и, оставившись в землю, начала свой рассказ.

— Девочка... в большой коммунальной квартире, — прошелестела она, — тринадцать соседей, все мимо ее комнаты проходили... там еще бабушка с ней жила... в той же комнате, папа с мачехой в другой, отдельной, где девочка раньше жила. Ночью шаги, шаги, шаги — соседи взад-вперед ходят, воду сливают... там туалет напротив... девочка все время просыпалась, а бабушка никогда не просыпалась, всю ночь храпела, а потом рассказывала, что всю ночь не спала. Вот как-то раз девочка проснулась... шаги, шаги... но в туалет никто не пошел... Как странно, подумала девочка и снова прислушалась... никого... только бабушка храпит. Девочка еле уснула, а на следующую ночь повторилось то же самое... и девочка уже не смогла уснуть до утра. Ночь такая страшная, длинная, никогда не кончается, если не спать... На третью ночь шаги раздались снова... Девочка тогда взяла и спросила, кто это. И ждала, а половицы скрипели, скрипели... «Кто это там ходит?» — прошептала девочка. «Не бойся, это я, твоя мама», — услышала она в темноте и узнала голос своей мамы. «Мама, зачем ты пришла? Ты ведь давным-давно умерла!» — «Я пришла, потому что тебе плохо и потому что у тебя нет своей комнаты... я знаю, что в ней сейчас твоя мачеха, но скоро она уберется восвосяси, и комната снова будет твоей». Девочка не поверила своей маме, но мама пришла к ней и на следующую ночь и повторила все то же самое, и еще она сказала, что будет сниться той мачехе каждую ночь, и если мачеха не уйдет, то найдет фотографию мамы девочки у себя под подушкой. Тогда девочка ей поверила и стала ждать. И вот однажды мачеха проснулась в плохом настроении и не хотела ни с кем разговаривать, даже с девочкиным папой. «Почему ты не хочешь со мной разговаривать?» — спросил ее муж. Но она не ответила. На следующее утро она проснулась в еще худшем настроении. И тоже не хотела ни с кем говорить. И так длилось неделю. «Если ты не будешь со мной разговаривать, уходи», — сказал муж. Мачеха перепугалась и рассказала ему, что каждую ночь ей снится его покойная жена. Наверное, она хочет, чтобы они расстались. «Не говори глупостей, — сказал девочкин папа. — Все будет хорошо. Это всего лишь сон». Несколько дней мачеха не видела плохих снов, и она уже поверила, что все это ерунда, но в одно прекрасное утро, когда она стала стелить постель и подняла подушку, то увидела под ней фотографию девочкиной мамы. «Откуда у тебя эта фотография? — спросил ее муж. — Где ты ее взяла?» — «У себя под подушкой», — ответила мачеха. «Нет, это неправда, — не поверил ей муж. — Ты специально ее туда положила. Ты хочешь, чтобы я подумал на свою дочь. Уходи!» И она ушла. Ушла, ушла, ушла! И девочка кричала ей вслед: «Чтоб ты сохла!» А она схватила свои вещи и помчалась с лестницы, вон из девочкиной квартиры! — Ольга зашлась в истерике.

Мы бросились успокаивать ее. Она долго еще всхлипывала, приговаривая: «Гадина, гадина».

На этом наши встречи не прекратились. Наоборот. Ольга прорвала плотину, и истории лились из нас неостановимо. О, сколько выплеснулось в те часы, какие сокровенные тайники нашей души отрылись! Главное, что никто не пытался ничего уточнять. Все приняли условный жанр рассказа, не задаваясь вопросом о том, что правда, что ложь, что накопилось внутри, а что произошло на самом деле. Каждый должен был переварить услышанное самостоятельно и ни с кем ничего не обговаривать.

В тот день Минская передала мне свои королевские полномочия, и я сказала, что хочу продолжить тему коммуналки. Тема была неисчерпаемой. Она имела множество разных оттенков и нюансов. Каждый прошел через свою коммуналку, и у каждого были свои отношения с ней.

После уроков мы собрались в полном составе. Стоял чудесный весенний день. Было еще по-мартовски прохладно, но стены защищали нас от ветра, а солнце проливалось теплом через отверстия для окон.

Водрузившись на стол, я приступила к рассказу.

— В одном чудесном городе у самого синего моря родилась девочка. У нее были мама с папой и дедушка с бабушкой. Все ее очень любили, и она тоже очень любила всех. А дедушка с бабушкой в ней души не чаяли. Они жили в одной большой квартире. Каждое утро девочка перед тем, как уйти в садик, бежала к ним, и дедушка рассказывал ей сказку, которую сочинял на ходу. Потом они прощались, желали друг другу хорошего дня, и девочка уходила с мамой в садик. Однажды утром, когда девочка оделась и уже готова была бежать к дедушке с бабушкой, мама сказала: «Ты не должна туда бегать каждое утро». — «Почему?» — удивилась девочка. — «Они ведь мои бабушка с дедушкой!» — «Нет, — сказала мама, — они тебе не бабушка с дедушкой. Твои настоящие дедушка с бабушкой живут в Молдавии. Ты приезжаешь к ним в гости каждое лето, и они к нам тоже приезжают. А это наши соседи по квартире, а соседей по квартире нельзя будить каждое утро». Девочка расплакалась и побежала к соседям со слезами на глазах. Она стала выпрашивать у них, действительно ли они ей не родные. Дедушка с бабушкой очень расстроились. Они стали гладить девочку по волосам, успокаивать, а дедушка пообещал, что в следующий раз расскажет ей самую лучшую сказку на свете. На следующее утро девочка снова прибежала к ним, и дедушка действительно рассказал ей самую лучшую в мире сказку. Жили-были муж и жена. Они прожили долгую жизнь, у них были дети, но не было внуков. Они плакали и просили Золотую рыбку подарить им внучат, и Золотая рыбка пообещала им, что в их квартире родится чудесная девочка, которая станет их самой настоящей внучкой. Она сразу воспримет их как своих родных дедушку с бабушкой и будет их любить и помнить всегда, даже когда вырастет и покинет их, даже когда у них появятся собственные внуки и правнуки. Но никто, кроме дедушки с бабушкой и этой девочки, не должен знать, что они и есть самые настоящие родственники. Это большой секрет, который скрыт в душе и будет храниться там всегда, сказала Золотая рыбка. Когда девочка услышала эту дивную сказку, она обрадовалась, крепко обняла дедушку с бабушкой и больше уже никогда не плакала, если кто-то посторонний называл их соседями.

Эстафету я передала Ритке, и она, поколебавшись, приняла ее, назначив тему «отцы и дети».

День снова был солнечным, но после уроков погода, как назло, переменилась. Стало пасмурно, из воздуха сочилась мелкая безвидная влага, ощутимая только на коже. Могло запросто закончиться дождем. Но в Одессе погода переменчива — налетит ветер и разгонит тучи. Или наоборот — наведет тень на ясный день ни с того ни с сего, и закончится дождем. Поразмыслив, решили не отменять встречу. В крайнем случае можно было и в школе укрыться.

Все отправились на школьный двор и заняли свои места, поглядывая на небо. Ритка, известная молчунья, была особенно собранна и чуть грустна. Она легко впрыгнула на стол, поерзала немного, ища удобное положение, и, оглядев всех, начала.

— Одна маленькая девочка была очень несчастна. Не думайте, что ее кто-то пытался обидеть или что ее наказывали родители. Никто ее не наказывал. Она наказывала сама себя. Каждый день и каждую минуту она наказывала себя. Как только она просыпалась, она начинала придумывать себе наказание. Например, она говорила себе, что не будет целый день смеяться или даже улыбаться. Или что не станет играть ни с кем из детей. И она усаживалась на скамейку в садике и сидела так одна, пока детей не звали обедать. Девочку никто не трогал и никто ни о чем не спрашивал, потому что все знали, что у нее недавно умер отец. Но никто не знал, что девочка считает себя виноватой в его смерти. Она не делилась этими мыслями ни с кем — ни с мамой, ни со своей старшей сестрой, ни с друзьями. Так росла она с этим чувством вины. И оно подавляло в ней много хорошего. Когда она подросла, ей было что сказать другим, но

чувство вины заталкивало все слова вовнутрь, и она всегда молчала, когда спрашивали ее мнения или просили совета. И она себя за это просто ненавидела. Но ничего поделаться с этим не могла. А однажды она вдруг подумала, что нужно с этим бороться. Раньше она считала, что чувство вины — это справедливое чувство, что оно помогает исправиться. И она поддалась ему, но оно ничего не исправило. Оно только заглушило в ней все другие чувства и сделало ее одинокой. И тогда она решила все изменить и исправить. Это было непросто, но она очень старалась. И она увидела, что окружена теми, кто любит ее, кто заботится о ней. Она стала отвечать тем же, стараясь не расстраивать мать и сестру. Она поняла, что именно этого и хотел бы от нее отец. И еще она поняла, что она не одинока. И однажды она преодолела молчание...

С места поднялся Сабоня.

— Я тоже хочу рассказать тут маленькую историю. Значит так... У одного пацаненка мама была очень больна. Ну... сердце у нее было слабое. А мама, она добрая такая была. Она книжки ему читала всякие, пела, когда он маленький был... и все такое. А потом она — бац! — и заболела. Девять лет тогда пацаненку исполнилось. Сначала он не понял, думал — устала мама. А потом смотрит, она в кровати все время лежит, не встает. Стал допытываться, плакать. И мать заплакала. Тут батя вмешался. Не трожь ее, приказал. Больна мать. Потихе возле нее. Батя в сапожной будке пахал с утра до ночи. Помочь по дому некому было. Бабка с дедом рано умерли. Больше не было никого. Вот... Ну и стал пацаненок ухаживать за мамой. Все делал. Научился готовить, стирать, убирать. Ну, все, в общем. А мать без воздуха не могла, часто задыхалась. Он ее тогда на улицу стал выводить, гулял с ней. Или просто ставил стул у входа, сажал ее, а сам шел дела по дому делать. Мать как-то сказала ему, что у нее есть одно заветное желание — дожить до его выпускного вечера. А после выпускного что? Помирать, что ли? Ну, нет... Как-то раз зашел в будку к отцу один его клиент обувь забрать. Ну, выпили, как полагаются, уже конец рабочего дня был... А клиент тот нормальный мужик был, жалел батю. И под закусон, который мальчик принес, рассказал о докторе одном. Мол, может помочь вашей маме. Светило, сказал, доктор тот. И повторил: светило. И адрес назвал. Доктор, оказывается, жил буквально за углом. Батя, конечно, не собирался к нему идти. Светило бы его даже и на порог не пустил. А пацаненок все запомнил и решил, что сам пойдет. И пошел. Квартиру нашел без труда, но звонок был высоко, дотянуться неудобно, ну пацаненок и стал тарабанить в дверь. Дверь отворил мужик. Серьезный такой, аккуратный. «Что тебе, пацан, чего хулиганишь?» Мальчик с порога: «Вы светило?» Боялся, что если мужик дверь захлопнет перед его носом, то уже все, пиши пропало. «Ну, я, — отвечает, — а в чем дело?» Пацаненок сразу: «Мама больна, лежит, я за ней смотрю, только вы ей и можете помочь». Тараторит, а сам боится, что сейчас дверь захлопнется. Но светило хорошим мужиком оказался. Дверь не захлопнул, а очень даже внимательно выслушал. К нему обычно взрослые приходили просить за своих, и те по благу, а тут пацаненок с улицы... Светило похлопал его по плечу. «Постой, — сказал, — подожди здесь, я сейчас оденусь и пойдем к твоей маме». И не обманул. Вышел через минуту с чемоданчиком, пошли. Привел его пацаненок к матери. Она, конечно, расплакалась, стала извиняться, а доктор велел ей посидеть спокойно, послушал ее, постукал, измерил пульс и выписал таблетки. «Пусть мама принимает их, как я прописал, — сказал. — А ты проследи, чтобы они всегда у нее были. И если что, приходи за мной». И еще он пообещал, что мать доживет до выпускного, и не только.

Сабоня закончил свой рассказ и сел. В тишине было слышно, как распелись птицы.

Слово взял Буратина. Он все еще смотрелся как ребенок: маленький, щуплый, с длинными тощими руками и совсем мальчишеским лицом. Его детскость особенно бросалась в глаза на фоне рослого Сабони.

— И у меня есть одна история, — начал он торопливо срывающимся фальцетом. — У одного мальчика мама ушла из дому. Не нравилось ей, что ее муж — мусорщик. И мальчик у нее был маленьким и слабым. И это ей тоже не нравилось. А его папа всегда приносил ему конфеты, и они ели и думали о маме. Мальчик жил с папой в подвале. А двор был очень красивым. Окно квартиры было прямо у земли. Его оплетал виноград. Мимо окна проходили жильцы. Мальчик узнавал всех по обуви. А однажды он увидел в окне мамины туфли и очень обрадовался. Он решил, что мама вернулась. Но она пришла забрать свои вещи. На мальчика даже не взглянула. Потому что он был некрасивый. Несуразный. А однажды, когда он чуть подрос, папа послал его в магазин купить хлеба. И он увидел маму на улице с подбитым глазом и рассказал об этом отцу. Папа забрал маму домой. Она бросилась на кровать и заплакала. Она думала, что никто ее не любит. Мальчик тоже думал, что никто его не любит. И папа тоже думал, что никто, кроме мальчика, его не любит. Тогда мальчик достал конфеты и дал одну маме, одну папе и одну взял себе. Они сидели и ели конфеты, и мама больше не плакала. И потом они стали жить все вместе, как раньше.

Много еще историй было рассказано и прослушано. Небесная Кошелева, например, выбрала тему радости.

— У одной женщины, — рассказывала она, — родилась дочь. Женщина очень хотела дочку, а ее муж не хотел ни дочки, ни ее самой. Когда женщина узнала, что у нее будет ребенок, муж взял и бросил ее. И дочь никогда не видела своего отца. Мама ее защитила диссертацию и стала преподавать математику в политехе. Иногда она задерживалась, но девочка ходила на продленку и не очень скучала. Дома ей было грустно, а на продленке хорошо. А потом у девочки начались обмороки. Мама срочно повела ее к врачу. Оказалось, что у нее врожденный диабет и она должна быть на строгой диете. Девочка не понимала, почему она, такая тоненькая, не может есть ничего радостного, что приносят детям на праздник. Однажды ей все-таки удалось съесть пирожное в буфете, и ей стало так плохо, что она чуть не умерла. Она долго плакала, когда пришла в себя, хотела поскорей выйти из больницы и пообещала матери, что больше никогда не будет есть ничего недозволенного. Особенно тяжело было девочке на Новый год, когда мамина администрация устраивала елку и всем детям дарили конфеты. Но девочка терпела. Потому что мама рассказала ей еще в больнице, что у нее тоже диабет и она ест только то, что положено. «Мама, а в чем же тогда твоя радость?» — спросила девочка. «В тебе», — ответила мама. И девочка поняла, что она всегда должна оставаться радостью для своей мамы, так как других радостей у мамы нет. Поэтому она терпеливо сносила диету, анализы и инъекции инсулина. А со временем она поняла, что получить радость — легко, а вот быть радостью ох как непросто.

Это были десять дней предпоследней школьной весны, дней, наложивших отпечаток на наши дальнейшие отношения и заставивших переосмыслить многое друг в друге.

Напоследок Курица предложила тему «мечта».

— Значит так, — начала она с места в карьер. — Жила-была и весь этот халоймес к черту. Одна чувиха была поставлена перед фактом, что мутерша ее уходит к хахалю и при этом еще выходит за него замуж. Оцем-тоцем паровоз! Ну, нехай, как говорится. Так нет, этого еще мало. Потом оказалось, что у мутерши будет ребенок. То есть ей и муж, и ребенок, и все сразу привалило. Через пару месяцев ребенок уже появился. Мальчик. Все мутершу поздравляют, включая и бабушку, что теперь эту чувиху воспитывала. А чувиха возьми и пораскинь мозгами — что ж это они мутершу ее поздравляют, а ее саму никто даже не удосужиться с единокровным, можно сказать, братом, поздравить. Она как заявила на ту хазу, где мутерша теперь жила, да как взглянула на Федьку — а он вылитый она. Что же вы, сволочи, меня с братом не знакомите? Может, я у него единственная старшая сестра! Вот вы тут все копыта пооткидываете

когда-нибудь, а кто за Федькой смотреть будет? Кто опорой ему станет? И она как выхватит Федьку, который тоже орать начал из-за такого безобразия, как начнет его качать, а он и замолчал. И улыбаться ей начал. А мутерша перепугалась, Федьку у нее из рук вытянула. Тогда чувиха рассердилась и пожелала ей: чтоб ты еще раз замуж вышла, а Федьку со мной оставила! Чувиху, понятное дело, выпроводили за дверь и приходить запретили. Но зато у нее появилась мечта. А то раньше — что? Сидит без матери, в учебник после школы пялится без всякого смысла, а бабушка ей то то, то се подкладывает на блюдечке... А теперь хоть стало о чем помечтать.

Все были немного в шоке от этого рассказа. На такой ноте никто не хотел заканчивать посиделки.

Тогда поднялась Янка и, пылая щеками, объявила, что ей тоже есть что рассказать. Все с надеждой посмотрели на нее.

— Значит так, — собираясь с духом начала Янка. — Однажды стояла на остановке девочка. Было холодно. Все мерзли. А троллейбуса все не было. Ну, как всегда, кто-то пошел на трамвай, кто-то взял такси, а девочка продолжала стоять, потому что у нее не было денег на такси, а на трамвай идти было неохота. Ну, стояла она так, стояла, а тут пошел снег, и совсем уже ничего не стало видно, даже столба рядом с номером остановки. Девочка и не заметила, как подъехал троллейбус. А он остановился, открыл двери и говорит: девочка, заходи скорей, а то тебя снегом засыплет. Девочка быстро впрыгнула в троллейбус, смотрит — а там никого нет. Только она одна. Сначала она не поняла, где все пассажиры, но троллейбус рассказал ей, что весь транспорт отменили в связи с пургой и остался он один. «А ты не боишься ехать в пургу?» — спросила девочка. «Нет, не боюсь. Я волшебный троллейбус. Я могу и в пургу, и в дождь». И они поехали. Их заметало снегом все больше и больше, и казалось иногда, что они плывут по небу. Так троллейбус довез ее до самого дома. А напоследок он сказал: «Если захочешь прокатиться со мной еще разок, закрой глаза и помечтай обо мне. И я приеду. Мы будем кататься по городу, а если захочешь, то я смогу показать тебе не только город, но и дальние страны. Я ведь не простой троллейбус. Я волшебный. Только маме ничего не говори. Взрослые видят все в превратном свете». Девочка пообещала троллейбусу ничего не рассказывать маме, и всякий раз, когда она мечтала о нем, он приезжал. Но однажды мама узнала про троллейбус. Она проводила девочку на остановку и стала ждать, пока он придет. Но он не приходил. Пришел совершенно другой троллейбус, только мама этого не поняла. Она вошла вместе с девочкой и ехала с ней до самой школы, а перед выходом сказала водителю, чтобы он никогда больше не смел посылать за ее дочкой свой троллейбус. Но девочка не оставила свою мечту. Каждый раз перед сном она мечтала о троллейбусе, и он приходил к ней и увозил ее в дивные края.

Никто в эту историю не поверил, и всем было ясно, что Янка сплела ее из желаемого и действительного, но все равно история была так хороша, что каждый в душе пожелал встретить однажды такой троллейбус. Расходиться не хотелось, было немного грустно. Все-таки это был заключительный день. Все понимали, что больше таких посиделок не будет, что скоро лето разнесет нас по разным пляжам и дачам, и мы все сидели и сидели, перебрасываясь репликами.

— Хорошо, что у нас еще целый год впереди! — со вздохом сказала Кошелева. — Можно еще многое поправить в отношениях друг к другу... теперь, когда нам так много открылось...

Все согласно закивали.

— Лизок, ты подаешь мне надежду! — усмехнулся Зелинский.

Его история была самой печальной и философской. Он рассказал о престарелом философе, который всю жизнь посвятил проблеме красоты. Его ученики разъехались и забыли о нем, его родители давно умерли, а его дети жили далеко и никогда не интере-

совались тем, что он делал. Все, что у него осталось на склоне жизни, это библиотека и старая ворона, прилетающая к нему каждое утро. Ворона садилась на ветку, чистила клюв и заглядывала в окно, поджидая его. Он рассказывал ей об идеальном мире, которым управляла красота, а она внимала, не перебивая, и ему казалось, что это единственное в мире существо, которое понимало его.

— Наверное, потому что во всем мире, только эта жалкая ворона и этот общипанный философ ощущали острую нехватку красоты, — подытожил свою историю Зелинский.

Пока предавались общей беседе, на полянке стали собираться игроки в футбол.

— Пора двигать, — сказал Чебурек.

Зелинский первым поднялся с места.

— И как тебе пришло в голову устроить эти посиделки? — спросила, вставая следом за ним, Прыткова.

— Так мы же у Фели «Декамерона» читали, забыла? Вот так и пришла в голову, — ответил вместо Зелинского Фаш.

— В «Декамероне» другое, — сказал Буратина. — Там чума была. Она всему виной. А у нас что?

— А у нас всему виной Грехова, — сострил Сокол.

И все вдруг вспомнили о Греховой и удивились, как это о ней позабыли.

— О Греховой забыли быстро, а об этом будем помнить всегда, — задумчиво произнесла Ритка.

— Так все-таки что вы думаете — это был ее брат или как? — встрепенулся Кучер.

— А вот завтра же и начнем выяснять, — твердо пообещала Феля.

ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО

Ритка — молчунья, сфинкс, загадка без разгадок, вещь в себе. Глубокая, как земля, полная внутренних переплетений. В ней свищут калмыцкие степи, хранят свои тайны корни и травы. Я — гром, дождь, ураганы и солнце. Во мне если ясно, то ясно, если пасмурно, то пасмурно. Небу без земли одиноко, а земле без неба пусто. Только так и можно понять нашу дружбу. Отношения с другими выстраивались более конкретно. Феля, к примеру, была для приключений, Курица — для конфликтов, Янка — для подготовки к контрольным и экзаменам, а вот Ритка — для того, что не описать словами. Если вспомнить по отдельности, то ничего особенного. Я спрашиваю о чем-то, она молчит, и тут-то все и начинается... Как в хорошей книге, которая состоит из подтекстов.

...Летний вечер, мы бредем по дачному поселку, фонари покачиваются, тени такие длиннющие. Каникулы, море, дачка на склоне. Одесские дачи... Сейчас многие из них просто роскошны. Не дачи, а целые виллы. А тогда... Тоже роскошны, только в рамках прежних стандартов. Иметь дачку уже было роскошью, даже съемную. Вообще же, дачная жизнь течет размеренно, если, конечно, без наплыва друзей и родственников. На море — с моря, поспали — поплавали... Единственная дача, которая впечатлила габаритами и событийностью, — это дача Ковалевского, куда меня еще в шестом классе пригласила Тата Янова. Мы дружили с детства. Ее мама была лучшим педагогом в знаменитой школе Столярского, а дочь — звездой с большим будущим, которое ей пророчили ну просто все. Я отправилась с неохотой, ожидая увидеть небольшую душноватую хибарку, и была просто потрясена, оказавшись в особняке, утопающем в зелени. Оказалось, что дача Ковалевского — это не одна дачка, а целая улица соседствующих дач и еще район между Большим Фонтаном и Черноморкой. Тата щеголяла в белом махровом комбинезончике с Толчка, играла в бадминтон с кавалерами, которых у нее была уйма, дефилировала по пляжу в открытом купальнике непостижимой при-

влекательности. А я сидела на подстилке и следила за реакцией мужчин на точеную фигурку подруги.

Риткина дачка ни в какое сравнение не шла с дачей Ковалевского. Зато там было как дома. Не нужно было напрягаться по поводу внешнего вида и вообще не нужно было напрягаться. Весь день валялись на песке, иногда заходили в воду. Какой-то девятиклассник из Киева брэнчал ластами и маской у нас над головами. Наконец уломал пойти вместе поплавать. Мы погрузились в воду, она слегка зашипела от жара наших тел, побарахтались, посмотрели, как мальчик юлил вокруг нас в своих ластвах, и вышли на берег.

Только плюхнулись на подстилку и начали ловить кайф от обсыхания, как над нами нависла туча в виде головы его разъяренной мамыши.

— Девочки, сколько вам лет? — яростно выкрикнула она.

Мы синхронно открыли глаза и, ничего не понимая, выпалили в унисон:

— Шестнадцать!

Она оторопела на секунду. Но все-таки сказала заготовленное:

— А моему мальчику только пятнадцать! Не подходите к нему!

И тут же смылась.

Мы снова закрыли глаза.

— Ты поняла, чего она примахалась? — спросила я.

— Нет, — ответила Ритка.

— И я не поняла. Возраст ей наш нужен был...

Ритка хмыкнула:

— Конечно, смотримся мы роскошно, такие наяды у них в Киеве точно на песках не валяются, но надо же в руках себя держать!

Мальчик вскоре вылез из воды, снова подошел к нам и стал капать ластвами на подстилку.

— Отойди, — сказала Ритка. — Не видишь, ты нам солнце загораживаешь.

Мальчик бросил ластва на песок и сел чуть поодаль.

— Ну, чего? — спросила Ритка, не открывая глаз.

— Ничего, просто так, — сказал мальчик.

— Сиди, ладно. Только нам не мешай.

Мальчик вздохнул и больше не мешал. Он просидел с нами, пока его мама не стала собираться домой.

— Мы еще увидимся? — спросил он нас.

— Увидимся. Иди давай, — сказала Ритка.

— Спасибо... Хорошие вы девчонки!

Он взял свои ластва и поплелся за мамой.

— Завтра пойдем на другое место, — сказала Ритка, когда он отошел.

Я кивнула.

Какое-то время мы смотрели, как снижалось солнце над водой, и она местами становилась бордовой.

— Пора, — сказала Ритка.

На даче уже пахло обедом. Что-то булькало в кастрюльках, разносился запах свеженарезанного зеленого лука с редиской.

— Девочки, мыться и за стол, — командовала тетя Ганна, Риткина мама. — Борщ уже выключаю, картошка доваривается. Пока сядем, будет готова.

Мы смываем с себя море в дворовом душе, насухо вытираемся и надеваем одежду, которая не обвалялась в песке.

Стол накрыт, жар от борща такой же, как от наших тел. Меньше всего хочется есть горячее, но, во-первых, нельзя обижать тетю Ганну, а во-вторых, после моря аппетит зверский.

— Я вам сейчас холодной сметаны положу, она борщ остудит, — словно читает наши мысли тетя Ганна.

Она достает из холодильника стеклянную банку с базарной сметаной. Банка тотчас туманится от испарений, исходящих из кастрюли. Так и хочется приложить к ней щеку или лоб.

Тетя Ганна берет большую ложку и накладывает нам в тарелки сметану поверх борща. Борщ аж вздрагивает от соприкосновения с холодом.

— Как же вкусно! — говорю я, зачерпнув ярко-красную гущу с белоснежным сметанным облаком поверх.

Ритка улыбается с прищуром.

— У мамы всегда вкусные борщи.

А тетя Ганна тем временем нарезает черный хлеб с чесноком и посыпает солью.

— Ешьте, ешьте.

После такого уже и картошка не полезет.

— Mam, давай картошку назавтра, а то мы сейчас лопнем, — говорит Ритка.

— Назавтра так назавтра, — соглашается тетя Ганна. — Днем поедите.

Мы встаем из-за стола.

— Пройдемся немного? — спрашивает у меня Ритка.

Я киваю.

— Идите, идите, я тут посижу на ступеньках, — отвечает тетя Ганна, доставая папиросу. Курить папиросы — это ее фронтовая привычка, хоть врач давно уже велел ей переходить на сигареты с фильтром.

Мы идем по улице, фонари слегка покачиваются, как шлюпки на волнах.

— О чем ты думаешь? — спрашиваю Ритку.

Она чуть улыбается. Догадайся, мол, сама. И я начинаю догадываться и догадываюсь до того, что вижу, как мы идем с ней по жизни, как эти две длиннющие тени, и даже уже позади, и много еще чего позади, а мы идем и идем, будто и впрямь в будущее можно вот так запросто притопать.

Улица заканчивается пустырем, и мы поворачиваем и возвращаемся на дачу.

Вокруг дачи уже совсем темно. И море внизу тоже темное.

Тетя Ганна все еще сидит на ступеньках.

— Даже не верится, что это наше последнее школьное лето, — вздыхаю, присаживаясь возле нее.

— Ну какое там последнее! Скажешь тоже! — откликается тетя Ганна, закуривая очередную папиросу. — Вот у нас было действительно последнее, когда война началась. Потом уж не до лета было все годы...

Мы с Риткой только переглядываемся. Досталось же людям такое! Война для нас — это что-то из фильмов. Мы не из военного и даже не из послевоенного времени, как Риткина старшая сестра. Наше время — время пляжей, качелей и каруселей, время мороженого и детских сказок, время яркого праздничного города, живописных прилавков на Привозе и анекдотов.

— Даже не представляю, как люди со школьной скамьи воевать шли, — говорю.

— Никто не представлял. А вот пошли... Кто со школьной скамьи, кто с университетской... По-разному было... Да...

— Мама, расскажи про черную женщину, — просит Ритка, усаживаясь на ступеньку рядом.

— Какую еще черную женщину? — спрашиваю, взглянув на тетю Ганну. Вроде бы фронтовичка тетя Ганна страшилками не славилась.

— Mam, ну расскажи, ну! — дергает ее за рукав Ритка.

— Не нукай... Разнукалась... — Тетя Ганна тушит окурок в баночке с водой.

— Расскажите... Интересно же, — присоединяюсь к Риткиной просьбе, видя, что тетя Ганна склоняется на уговоры. — Это о привидении, что ли?

— Можно и так сказать, конечно, — тетя Ганна задирает голову и смотрит на звезды. — Небо очистилось... В привидения я не верю, но объяснить некоторые вещи до сих пор не могу. Вообще на войне много всяких странных случаев было, и не только со мной. В тридцать седьмом году отца моего, Риточкиного деда, посадили, а мама оставила нас с братом у сестры и отправилась к мужу на север на вольное поселение, чтоб рядом быть. Нас, как прослышали об этом власти, тут же в детдом упекли. Меня в один, брата — в другой... Тяжело нам было. Сначала с родителями расстались, потом друг с другом... Да... Со временем мама все же сумела забрать нас к себе, у нее уже работа была, комната, так что предъявила справку и заполучила нас обратно. И жили мы в поселке рядом с лагерем до самой войны. А как война началась, я сразу же на фронт и попросилась. Радисткой. Мама волосы на себе рвала, умоляла... Но разве меня оставишь? Я как танк — выберу направление и напролом... Да... Но провоевала я совсем недолго, до сорок второго. Как-то во время боя связь повредило, и я поползла, чтобы наладить ее. Провода нужно было соединить. Доползла под разрывы снарядов, во рту зубами зажала то, что для соединения проводов требовалось. Подползла, все соединила, и тут в меня снаряд попадает... Прямо в живот. Глубокое полостное ранение. Ничего не помню, ни как меня с поля вытащили, ни как в госпиталь отправили. Впала в кому сразу же и пролежала в ней месяц, а то и больше. И вот что дивно — все думали, что я ничего не чувствую, а я всех сверху видела и слышала. Представляете? Вот как смотрю сейчас на это небо, звезды вижу, так и палату свою с медперсоналом видела. При этом еще и каждое лицо, каждую деталь... Четко так! И кто что говорил, слышала, и как приговорили меня к скорой смерти, как не верили, что приду в себя. Никто не верил, только все ждали, пока дыхание остановится. А оно не останавливалось. Помню, форточка там была возле моей постели. Я как насмотрюсь на них, наслушаюсь, устану, так в нее и вылетаю. Парю себе в полной синеве — тихо, благодать... Такого здесь не испытаешь. И так легко мне становилось, так хорошо, что и возвращаться не хотелось. Но все-таки возвращалась, и сразу тяжесть такая на грудь наваливалась. Стала я все чаще отлетать, и потом вдруг в какой-то момент словно что-то во мне сказало, что это я в последний раз вылетаю, и если захочу вернуться, то уже не смогу. Я помедлила и осталась. И тут же в себя пришла. Вижу над собой все знакомые мне лица, хоть раньше никого из них не встречала, и сразу по имени каждого называю. Медперсонал оторопел. Откуда, мол, ты знаешь, как кого зовут? А врач мне при выписке признался, что много таких случаев слышал от тяжелораненых...

Она с наслаждением затянулась.

— А черная женщина? — спросила я.

Ритка одернула меня:

— Подожди, не дошли еще.

— Да, не дошли. Это только зачин был, чтоб понятнее стало, как я оказалась в тех местах, куда черная женщина пришла... Ну, вот. После ранения меня демобилизовали. Врачи сказали, что детей иметь я никогда не буду. С этим и вернулась на север к родителям, поначалу ничего им об этом не рассказав. Радости их не было конца. Вечером сели чай пить, и я призналась матери, что внуков не будет. Думала, заплачет, а она только рукой махнула — мало ли что врачи говорят, они знают только то, что учили. Погоди еще, забеременеешь, Бог даст. Ну и, как видите, права оказалась. После войны Жанночка родилась, а потом и Ритка, как подарок, появилась... Ну, вот. В поселке нашу семью хорошо знали и любили и сразу с работой помогли. Устроилась я на выдаче продовольственных карточек. Работа ответственная, тяжелая. Всякий раз смотреть, как голодные люди в очереди стоят, ждут карточек, не большая радость, скажу

я вам. На севере с едой всегда тяжело было, а тут еще война... Как-то пришла я домой совершенно изнеможенная. Еле чай допила. Рухнула на койку и провалилась. И снится мне сон. Приходит ко мне женщина, вся в черном, смотрит так пристально в глаза мне, словно гипнотизирует. Я спрашиваю, что ей надо. А она отвечает, что карточки, мол, продуктовые у нее украли, детям есть нечего, и просит меня дать новые карточки, которые ей положены только в следующем месяце. Не просит даже, а как будто внушает мне. И говорит при этом: никого не слушай, меня слушай. Только меня. Если кто захочет тебе помешать, гони его прочь. А я обещаю тебе, говорит, что в следующем месяце не приду и никаких неприятностей у тебя не будет. Вот возьми это в залог нашего договора. И вытаскивает монету. Бери! Она будет напоминанием о слове, которое я тебе дала. И я проснулась. Сердце колотится, жутко, будто все на самом деле произошло... Тут мама увидела, что я сама не своя. Что с тобой, спрашивает, не заболела ли? Я воды попросила, села на кровать и рассказала весь сон в деталях. Мать перепугалась, стала меня умолять, чтобы я в тот день на работу не ходила. Этот сон вещий, говорит. Сиди дома, не ходи никуда. Чуть ли не дверь собой загораживает. Тут во мне упрямство разыграло, словно кто-то на пружину какую-то нажал. Я вскочила с постели, собралась быстро и к выходу направилась. А что вы хотите? Молодая была, фронтовичка притом... А мама, как сейчас помню, хватя меня за руку, силой к столу усадила, сама напротив села и говорит: иди, коли решила, но помни одно — что бы там ни было, кто бы и как тебя ни упрашивал, не смей выдавать повторно карточки никому. Слышишь? Не смей. Никому. Заклинаю тебя. Страшно так сказала, сильно: за-кли-на-ю. До сих пор звучит у меня это ее *за-кли-на-ю*... И не зря заклинала — за повторную выдачу карточки могли ведь и посадить или вообще отдать под трибунал. Так я и пошла на работу с ее заклятием в ушах. День прошел, как обычно: люди, выдача, дети под окнами галдели... Никаких происшествий не было. Ну, вот и все, закончился этот треклятый день, сказала я себе, когда все стали расходиться по домам. Дождалась, пока все выйдут — у меня ключи от офиса, по уставу должна была дожидаться, чтоб никого не было, закрыла ставни, взяла ключи, и тут... В дверь постучали и, не дожидаясь разрешения, толкнули ее... На пороге появилась женщина. Она была одета в черное, точь-в-точь как в том сне. У меня ноги подкосились. Вот-вот сознание потеряю. А она словно учуяла мое состояние — дверь за собой закрыла и впиалась в меня взглядом. Ведь точно знала о моем сне! Стоим и смотрим друг на друга. Я даже впала в какое-то оцепенение от ее взгляда. Не могу ни рукой пошевелить, ни шагу ступить. Наконец она начала приглушенным голосом. У меня украли карточки, говорит. Дети мои голодают, плачут, есть просят. У нас в доме ничего нет. Ни крошки. Выпиши мне карточки, а я обещаю тебе, что не приду повторно просить их в следующем месяце. На, возьми, это будет тебе залогом моего обещания. И протягивает мне монету. Вот эту... — Тетя Ганна достает из кармана коробочку и открывает ее. — Это та самая монета. Я всегда держу ее при себе...

Я ахнула. Ритка внимательно, даже с каким-то удовольствием наблюдает за моей реакцией. Небось сто раз уже слышала эту историю и хочет посмотреть, произведет ли она и на меня такое же впечатление.

Монета старая, истертая, не монета, а целая жизнь. Я беру ее в руки и внимательно рассматриваю.

— А потом что? — спрашиваю.

— Ну, выписала я ей карточки и после этого никогда ее больше не встречала. Вот такая история, девочки. Ну, я пошла спать, — говорит тетя Ганна, забирая монету и закрывая коробочку.

На языке вертятся вопросы, хочется узнать, как баба Геня отреагировала на эту историю, когда дочь заявила домой с монетой, но тетя Ганна уже ушла.

— Ну и ну! — только и говорю.

Мы сидим на ступеньках и смотрим, как звезды слетают с катушек.

Ритка достает из кармана сигарету из купленной тайком от матери пачки «Родопи», затягивается и становится похожей на тетю Ганну.

— Ритка, что ты думаешь об этой истории?

Она, шурясь, выдувает дым в звезды и молчит.

— Ну, скажи! Как она могла твоей маме во сне явиться? Что это было? Как ты думаешь, а?

Я почти уверена, что Ритке открыто такое, о чем словами нельзя. Словами можно только историю рассказать, а вот то, что в ней кроется... В этом разница между мной и Риткой — я всегда хочу постичь все словами, а Ритка знает, как вслушиваться в неизреченное. Она вслушивается и вслушивается, дымя сигаретой, пока я стараюсь переварить все, что тетя Ганна сказала.

Поднимается теплый ветер с моря. Впереди — бархатный сезон, еще кусочек лета... Нет, конечно, оно у нас не последнее. Просто оно переломное. После него будет какое-то совершенно другое лето, которое больше не приведет нас в школьный двор, не соберет, как прежде, в классе. Оно захлопнет перед нами двери школы, разлучит со всем, что казалось навеки, и связь между настоящим и будущим порвется, как тот провод, который тете Ганне все-таки удалось соединить.

Резко, почти ностальгически накатывает воспоминание о прошлом лете. Нет, не о чем-то конкретном, а о том общем ощущении легкости и безмятежности, когда впереди был девятый класс и вся большая школьная жизнь еще не казалась усеченной до одного года... Хоть бы на несколько часов вернуть то ощущение!

Сигарета докурена.

— Ну, все, спать, — говорит Ритка. — Завтра прямо с утра к морю.

— Может, пойдем на старое место? — спрашиваю, вспоминая о мальчишке.

— Зачем?

— Так просто. Жаль мальчишку. Будет ведь нас искать.

— Может, и будет...

Понимаю, что Ритка уже все решила. Ну что ж, завтра пойдем на новое место, раз так.

АЛЛЕЯ СЛАВЫ

Ноябрь погодой не баловал. Ветрено, пасмурно, зуб на зуб не попадал. Серые мешки облаков грозили просочиться дождем, но ветра отгоняли их и насылали туман и изморось на город. У памятника Неизвестному матросу промозглость была особо ощутима — двадцатиднометровый обелиск возвели на краю обрыва над морем, где беспрестанно кружили ветра. Парк помрачнел. Голые ветки облетевших деревьев только усиливали ощущение бесприютности озябшей природы в ожидании еще далеких новогодних радостей.

В один из таких дней перед началом уроков в класс вошла завуч и сообщила, что группа учащихся будет освобождена от занятий на неделю, чтобы нести вахту на Аллее Славы в парке имени Шевченко.

Памятник Неизвестному матросу — место святое для одесситов. Там во все времена присягали в верности городу, его традициям, туда отправлялись почтить память погибших молодожены. Сразу после загса спешили не в ресторан и не к столу, а на Аллею Славы возложить цветы.

Памятник был поставлен не только погибшим в 1941 году в Григорьевском десанте — первом морском десанте на Черном море, задачей которого было совместно с воз-

душным десантом разгромить группировки румынских войск, движущихся на Одессу с Фонтанки. Задача была выполнена с честью: две румынские пехотные дивизии были разгромлены, и к вечеру 22 сентября линия фронта была отодвинута на пять-восемь километров от города.

На четырех сторонах обелиска четыре барельефа запечатлели четыре героических периода в истории Одессы. Помимо Григорьевского десанта, это еще и оборона города в апреле 1854 года, во время Крымской войны, когда эскадра союзников, не сумев высадить десант, отступила в Крым, а также восстание на «Потемкине» в 1905 году и Январское вооруженное восстание 1918 года. Такой историей можно было не только гордиться, но и учиться на ней победоносному духу города.

Стоять на вахте у обелиска было большой честью. Попасть в группу хотелось каждому, и вовсе не потому, что на занятия ходить не нужно было. Независимо ни от чего от домашних заданий никого не освобождали и поблажек никому не давали. Нести вахту означало еще и выполнять школьные обязанности, и вообще быть достойными тех, кто отдал жизнь за Одессу. Комсомольско-пионерский «Пост № 1» был установлен в 1968 году 10 апреля — в день празднования освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков. И все это вместе и по отдельности было очень и очень значимо.

Отбирали не только за академические заслуги, но и по внешним параметрам. Требовались рослые, стройные десятиклассники, и из наших отобрали Сабоню с Крищенко, а из девчонок в поле зрения попали мы с Кошелевой и Ольга с новенькой, которая только перевелась к нам и была круглой отличницей.

Новенькую забраковали сразу, так как она носила очки, а они запотевали на холоде каждую минуту, так что стоять по стойке смирно у памятника или даже дежурить на Аллее было проблематично. Ольга тоже отпала, как только взглянула на комиссию своим изумленным взглядом, когда ее попросили пройти строевым шагом. Мы же с Кошелевой бойко зашагали, отчеканивая шаг, и, по всему, очень даже приглянулись начальству. Нас попросили пройти на бис, и мы так тянули носок, что все были в отпаде от этого варьете.

— Ну, девчонки, ну покажите еще, как вы там канкан отчеканивали! — умолял Зелинский после просмотра.

Кошелева только хихикнула, поправляя перед зеркалом полученную пилотку, а я с сожалением смотрела на фото обелиска на стене с фотографиями караульных.

В караульные нас с Кошелевой не взяли. Назначили дежурными по Аллее. В наши обязанности входило следить за порядком: чтобы никто не бросал окурки на землю, не сорил и не действовал на нервы тем, кто стоял в карауле. Нам выдали бушлаты и пилотки, повесили на стене расписание дежурств, и под надзором начальника группы мы должны были в положенное время отправляться на место патрулирования, а старший потом возвращался в штаб.

В домике, который и был штабом, мы с утра переодевались в форменную одежду, и туда за нами приходили старшие отряда, чтобы отвести на Аллею. В штабе была специальная комната с длинным столом, за которым можно было перекусить, выпить горячего чая и сделать домашнее задание. Все-таки это был десятый класс, и каждый старался получить лучшую оценку в аттестате.

В первый же день, когда Курица с Риткой заявили, чтобы навестить нас и дать нам домашнее задание, мы обсудили план действий. То, что парк Шевченко был местом не очень благополучным для длительных проходов юных дев, даже и в бушлатах, понимали все, кроме начальства. Курица с Риткой пришли с целью нас охранять, и если надо, то и защищать от темных элементов — любителей копошиться в кустах.

— Значит так, вы пилите по Аллее, а мы за вами на стреме, — говорила Курица, которую предупредили, что на Аллее никто с дежурными рядом не прогуливается. — Чуть что, подсказываем и поднимаем хаеж. Только задом не вертите.

В первый же день, пока мы следили за порядком, а Курица с Риткой — за кустами, обнаружилось, что за нами тоже следили. Мужик в сером плаще и кепке постоянно терся рядом, даже не притворяясь, что рассматривает достопримечательности. Его, конечно же, сразу вычислили, но он не сообразил, что мы вчетвером.

— На стреме, на стреме, — негромко за нашей спиной оповещала нас тоном разведчицы Курица.

Поскольку мужик в наступление не шел, мы продолжали делать обход в соответствии с уставом. Надеялись, что он наконец отклеится: погода паршивая да и что толку за нами брести? Так мы и ходили туда-сюда, наблюдая боковым зрением, как он делает пару шагов и останавливается, потом снова пару шагов и останавливается.

Идти по направлению к памятнику было куда приятнее. Хотя ветер с моря дул прямо в лицо, грозя сорвать пилотки, тщательно прикрепленные заколками к волосам, это с лихвой компенсировалось тем, что у памятника несли вахту Сабоня с Крищенко. Сердце переполнялось гордостью, глядя на них, наших мальчишек, стоящих на страже святая святых. Форма преобразила их. Они смотрелись как настоящие защитники города: статные, широкоплечие, мужественные. Лицо героической Одессы. А выправка! Как удалось им коренным образом преобразиться за короткое время? Куда только подевались те оболтусы, что задачки у доски не могли решить!

— Ритка, ты видела, как мальчишки сегодня смотрелись? — спросила я, отогреваясь чаем в штабе.

— Видела, конечно. Защитники наши будущие... — Ритка отхлебывала из чашки, обхватив ее ладонями. — Им там над обрывом еще холоднее было, чем нам. Дуло прямо с моря, а они и пошевелиться не могли...

Вошла Курица с чаем и, усаживаясь напротив, громогласно заявила:

— Так, девки, вы как хотите, но если этот чмырь еще раз нарисуеться...

— Курица, заглохни! — оборвала ее Ритка. — Не видишь, люди тут к занятиям готовятся, и вообще...

— О чем базар? — поинтересовался, подсаживаясь к нам, Зелинский. — Лизок, иди, я тебе чаю принес с печеньями, — окликнул он Кошелеву, которая собиралась разжиться кипятком. — Угощайтесь, девчонки! — Он поставил на стол тарелку с печеньем. — Ну, так что там у вас стряслось?

— Да падла одна все дежурство пейзаж портила, — сказала Курица, беря печенье.

— Кто такой?

— Ничего особенного, просто смотрел, как наши павы обходят Аллею, — попыталась сгладить неровности Ритка. — Пока что для паники нет никаких причин.

До конца дня все было тихо. К Курице с Риткой прибавился еще Зелинский, и с таким эскортом было совсем уже спокойно.

Серый плащ больше не появлялся, и после дежурства, решая, как быть дальше, мы пришли к выводу, что завтра конвой не нужен, тем более что погода обещала быть дождливой.

Как же мы ошиблись! На следующее утро плащ поджидал нас. Мы заметили его только после того, как старший по группе ушел. А может, он просто прятался где-то за деревьями, дожидаясь, пока мы останемся одни.

— Что делать будем? — шепотом спросила Кошелева.

— Ничего. Будем ходить как ни в чем не бывало. Будто его нет.

— Но он есть!

— Наша задача — следить за порядком. Порядок он не нарушает. Стоит себе и стоит. Ходим кругами, до него не доходим. В случае чего побежим к нашим к Вечному огню.

Мне самой стало легче, когда я вслух определила план действий. Ну конечно! Что он нам может сделать на Аллее, где все друг у друга на виду плюс мальчишки стоят в карауле! Мы даже развеселились, стали нести какую-то чушь, но это было нервное.

Трижды в течение дня возвращались мы на дежурство, и трижды серый плащ появлялся, как только старший по группе уходил. Он устроил себе поодаль нечто вроде наблюдательного пункта в кустах, прямо за захоронениями, и стоял там истуканом.

На следующий день все повторилось. Это уже настораживало.

После уроков примчались Ритка с Курицей.

— А Зелень где? — осведомилась я.

— Слег. Грипп у него, — сказала Ритка. — А что? Снова появился?

Мы с Кошелевой кивнули.

— Не нравится мне все это, — покачала головой Ритка. — Нужно, наверное, оповестить старшего по группе.

— Да, как же, оповестишь его, — с досадой сказала Кошелева. — Когда мы в сопровождении старшего — никого нет. А потом как из-под земли вырастает и стоит столбом в кустах, прямо за плитами. Привидение...

Решили пока держаться вместе и играть по слуху. Заодно опросили других дежурных, не видал ли кто кого-то подозрительного, но никто ничего не видал, никакого мужчину.

— Представляете, девки, какая падла! Хочет сделать из нас истеричек, — возмущалась Курица. — Никто его не видит — ни старший, ни другие дежурные. Только мы. Вот ублюдок! И где прячется — за захоронениями! Ничего святого!

— Нужно перестать его бояться, девчонки, — сказала я.

— Это как? — спросила Кошелева.

— А вот так. Не мы для него, как он думает, а он для нас. Мы должны с ним расправиться.

Курица всполошилась:

— Ты что, предлагаешь залабать ему Шопена? — Имелось в виду сыграть похоронный марш. — Так я мазу соберу на раз!

— Не ему, Курица. Нашим страхам нужно залабать Шопена.

— Легко сказать, — вздохнула Кошелева.

Тем временем ублюдок уже поджидал нас на том же месте. Мы прошли мимо, и когда отошли на порядочное расстояние, Ритка сказала нам в спину:

— В натуре, девчонки, это становится уже опасным.

Мы замедлили шаг.

— Что ты предлагаешь? — спросила я, не оборачиваясь.

Ритка собиралась что-то ответить, но тут раздались звуки «Реквиема», запись которого играли на Аллее через определенные промежутки времени. Мы слышали его не раз, но на нашем дежурстве это звучало впервые. Музыка, голос, читающий строки Рождественского, Вечный огонь, пляшущий под низким скорбным небом, море, рокошущее внизу, фигурки мальчишек вдалеке по обе стороны обелиска, невидимый враг... Все это вдруг соединилось в картину жизни и смерти, в которую отныне были включены и мы со всей нашей родословной как частью родословной Города.

Волна неведомых доселе эмоций захлестнула нас. Мы стояли не в силах пошевелиться. Глаза слезились то ли от ветра, то ли от того, что перехватило горло. Мы мысленно оплакивали тех, кого не знали, а внутренним взором видели облик наших мальчишек... И мы готовы были встать на их защиту, принять удары ветра на себя, как

это сделают годы спустя наши сверстницы на Куликовом, не пожелавшие оставить мужчин в ту смутную годину. По совету моей подруги они согласятся побежать ненадолго в церковь, чтобы помолиться за благополучный исход и сразу же вернуться. Но ни одна церковь не отворит им дверей и не начнет бить в колокола, невзирая на их мольбы. Назад им дороги уже не будет. Ее перекроют толпы гикающих дикарей, мчащихся на расправу...

Но зачем она им, эта слава, —
мертвым?
Для чего она им, эта слава, —
павшим?
Все живое —
спасшим.
Себя —
не спасшим.
Для чего она им, эта слава, —
мертвым?..
Если молнии в тучах заплещутся жарко
и огромное небо
от грома
оглохнет,
если крикнут все люди земного шара, —
ни один из погибших
даже не вздрогнет.
Знаю:
солнце в пустые глазницы не брызнет!
Знаю:
песня тяжелых могил не откроет!
Но от имени сердца,
от имени жизни
повторяю:
Вечная
Слава
Героям!..

Когда запись закончилась, мы попытались вернуться в исходное положение, то есть продолжать обход, но совершенно неожиданно Курица сорвалась с места и с воплем ринулась к захоронениям.

— Урою! — судорожно выкрикивала она, несясь по направлению к серому плащу.

Он поначалу не сообразил, что это относилось к нему, а когда сообразил, то словно врос в землю.

— Урою, падла! — орала Курица, приближаясь к нему со скоростью теннисного мячика. — Наши предки жизни сложили за этот город, а ты... ты... топчешь тут их память!

Такого патриотического подъема никто из нас от Курицы не ожидал. Она готова была уже прыгнуть на подлеца и вырвать ему глаза, как из-за кустов выскочил патруль. Не успели опомниться, как нарушителя скрутили, повалили на землю и в наручниках затолкали в машину.

Мы только присвистнули, глядя, как машина стремительно уносила его к участку.

— Ну дают! Прямо как в кино, — сказала Кошелева.

Кино нас тоже ожидало, но чуть позже. А на тот момент мы думали только о загадке своевременного вмешательства патруля. Она разрешилась почти сразу. Оказалось, что наш опрос дежурных в штабе касательно подозрительного типа не остался без внимания. Те, с кем мы говорили, заподозрили что-то неладное и обратились к старшему группы. Тот, не мешкая, вызвал патруль, и пока Курица мчалась с криком к нашему преследователю, ребята обошли его со стороны посадки и без труда схватили.

— Отвлекла внимание и способствовала успешному завершению операции по взятию нарушителя, — подытожил начальник штаба на вечерней линейке, поблагодарив Курицу за проявленную бдительность. — Мы давно за ним охотились, но он как сквозь землю проваливался всякий раз, как мы отправляли патруль на его задержание. Молодец птичка-невеличка! Смелость города берет.

Так Курица стала героиней дня и получила за это грамоту за подписью начальника. На этом, конечно, теневой мир парка не рассеялся, но до конца дежурства мы чувствовали себя в полной безопасности и просто купались в лучах победы.

Последний день выдался особо холодным. Ветер хлестал по щекам. Досталось и ногам в тонких колготах. Щеки еще можно было защитить, подняв воротник, а вот ноги... Бушлат был довольно короткой, а юбку не хотелось надевать такую, чтобы она изпод него выглядывала. Подпрыгивая и поминутно похлопывая себя по замерзшим местам, мы с Кошелевой кружили, как два аиста, по пустынной Аллее.

— Эй, девочки, подойдите-ка сюда, — окликнул нас какой-то плотный человек, рассматривающий надпись у плиты. Рядом с ним стояла стройная молодая женщина и приветливо улыбалась нам.

Ежась, мы потрусили к ним.

— Здравствуйте, — поздоровались мы, стараясь унять дрожь.

— Ну здравствуйте, здравствуйте, красавицы, — сурово поприветствовал нас незнакомец. Мушка на его левой щеке дрогнула, словно он подавил усмешку. — Не холодно в таких юбочках дежурить на ветру? А если продует?

Я опешила. Да ведь это же Моргунов! Похоже, Кошелева тоже сразу смекнула, кто перед нами. Мы смотрели на него во все глаза, а он продолжал как ни в чем не бывало:

— Что же это ваше начальство выпускает вас дежурить в такой холод в таких коротких бушлатах? У них что, подлиннее ничего не нашлось? Или решили на молодежи сэкономить? Безобразие, да и только! Комсомолки?

Мы кивнули. Женщина уже еле сдерживалась от смеха за его спиной. Он же невозмутимо продолжал:

— Сегодня же позвоню вашему начальству, спрошу, почему они не берегут своих комсомолок. Вам бы на обложку комсомольского журнала, а они вам такие короткие бушлаты выдают. Непременно позвоню в райком. Или нет, лучше даже в горком.

Женщина уже заливалась вовсю.

— Да не обращайтесь на него внимания, девчонки. Он всегда такой... Любит пошутить... разыграть... — Она утерла слезы. — Розыгрыш нас и познакомил.

— Это как? — спросили мы.

— Да просто. Сама же и помогла себя разыграть. Я тогда в технологическом училась и готовилась к зачету. Ну, позвонила на кафедру, чтобы время зачета узнать, попросила профессора к телефону. Только случайно вместо кафедры набрала телефон подруги. А там сидел Евгений Александрович. Он взял трубку и на мой вопрос ответил, что он сотрудник кафедры и вскоре перезвонит мне с ответом. Я дала ему свой номер... Так все и закрутилось. Он звонил мне несколько раз, а потом сознался, что разыграл меня, представился и пригласил на свидание...

— Ну надо же! — всплеснула руками Кошелева и прибавила, глядя на Моргунова: — А я вас сразу узнала...

— И я... — призналась я следом за ней.

Моргунов заулыбался. Мы еще немного постояли, он расспросил нас о том, из какой мы школы, когда заканчиваем, но его жена уже начинала поеживаться.

— Нам пора, — сказал он, обняв ее за плечи. — А вы, девочки, правда, подлиннее что-то надевайте, а то обморозите ноги-то...

Мы счастливо закивали в знак согласия, проводили их до лестницы и помахали на прощание.

— Наши ни за что не поверят, что мы с самим Моргуновым тут повстречались, — говорила Кошелева, глядя им вслед, пока они не исчезли из виду.

Ритка с Курицей действительно поначалу не поверили, но мы их в конце концов убедили.

— Эх, жаль только, что не на чем было автограф получить! — сокрушалась Кошелева. А Зелинский, который тоже припелся, все еще кашляя, сказал:

— Да попросила бы прямо на коленке автограф оставить, Лизок. Он бы не отказал. Кошелева залилась смехом.

— Зелень, ну чего ты приперся? — укоризненно посмотрела на него Курица.

— Да грустно дома, чаю некому подать...

— На тебе чаю, — сказала Ритка, отдавая ему свою чашку, которую только что принесла. — Попьешь, и мы тебя домой проводим. Отлежишься за выходные.

Зелинский кивнул и отхлебнул из чашки.

— Хорошо... Горячий... Душу согревает... Ох, девочки, что бы я без вас делал...

Наступила пауза. Было слышно, как листают страницы учебника ашки и травят анекдоты вэшки.

Дверь открылась, и совершенно озябшие Сабоня с Крищенко направились прямоком к чайнику.

— Интересно, где мы будем в это время в будущем году, — сказала, провожая их взглядом, Ритка.

— Почему ты об этом подумала? — спросила я.

— Подумала, и все.

Сабоня с Крищенко налили себе полные чашки и осторожно, чтобы не расплескать чай, подошли к нашей группе.

— Ну и холодина!

Они присели рядом, отогреваясь над паром, обильно поднимавшимся из чашек.

— Где бы мы ни были в будущем, — откликнулся Зелинский на Риткину реплику, отхлебывая из чашки, — а в понедельник снова встретимся в нашем классе. И это — главное.

Все согласно закивали, ухватившись за соломинку определенности перед лицом неизвестного будущего.

За окном сгушался туман. День подходил к концу, а с ним и наше дежурство.

ПРОЩАНИЕ С ДОМОМ

Дом давно уже хотели бросить, и он это знал. Ночью, когда мама шепталась с отцом о том, как хорошо было бы получить отдельную квартиру на Черемушках, дом беззвучно рыдал в подушку. Я пыталась убедить его, что это все неправда, что взрослые всегда так фантазируют, не принимая в расчет остальных, что ничего не изменится и что у него самое лучшее в мире окно с видом на луну. Дом только безутешно скрипел половицами.

— И чего он скрипит! — шепотом восклицала мама. — Уснуть не дает. Завтра на работу...

Ну да, когда не люб, то все не так... А мне он был люб, и он знал это и баловал меня то снами, то птицами на чердаке. За это я показывала ему свои стихи. Напишу, положу на подоконник, и ветер странички перелистывает. А к четырнадцати годам стихи вдруг перестали писаться. Что-то в них заклинило. Наверное, переходной возраст у них наступил. Иногда они просачивались тоненькой струйкой из каких-то мелодий, которые я наигрывала, а потом записывала. Получались песни.

Овеян сказкой добрый старый дом,
Взойдет луна над черепичной крышей,
Пробьют часы старинные «динь-бом»,
И зашевелятся тихонько мыши.

Здесь, в старом доме, так во все года
Уютно, тихо и тепло в ненастье,
Но я прощаюсь с домом навсегда,
И не в его меня оставить власти.

Мне будет жаль больных кирпичных стен,
Больших часов, шуршанья под порогом.
Как корку хлеба, я на черный день
Возьму воспоминания в дорогу.

От этих песен дому совсем грустно становилось. Он хлопал крышкой пианино и наводил тень на углы. А когда мы однажды вернулись из гостей и мама с восторгом стала вспоминать про раздельный санузел в новой самостоятельной квартире своих друзей, дом окончательно ушел в себя.

Когда я перешла в десятый класс, свершилось то, чего дом опасался столько лет: мы получили большую трехкомнатную квартиру в высотке чешского проекта, в которой были все удобства, но не было души. Над головой вместо голубей на чердаке теперь топтали соседи, за стеной гудел лифт, но это никого не смущало.

Стихи упорно не возвращались, зато пианино было безотказным. Семь лет музыкальной школы не прошли даром. К тому же мы еще с Риткой пели в хоре. Голос у нее был чистый, звонкий, звучный. Возьмет нотку, и она вибрирует, кружит, возносится...

О, сколько раз нас пыталась разлучить злая волшебница по русской литературе Сусанна Ивановна! Но добрая волшебница по истории Лидия Филипповна всегда была на нашей стороне. И она оказалась права. Хоть Ритка и отлынивала от занятий, но лишь потому, что могла отдаваться полностью только любимому делу. Она любила петь, а ее большой мечтой было стать хирургом. Нет, не потому, что она в детстве играла в доктора, и не потому, что ей хотелось носить белый халат. Хирургом был ее отец, одним из ведущих причем. Как-то вернулся он домой после напряженного дежурства совершенно измученный. Риткина мама как раз ушла на работу, а сама Ритка была совсем малюткой. Отцу нездоровилось. Он прилег на кушетку и попросил воды. Ритка попыталась дотянуться до крана, но не смогла. И заплакала. Отец подозвал ее к себе, успокоил, попросил просто сесть на пол возле кушетки, взял ее за ручку и закрыл глаза. Так она просидела до темноты, вся мокрая, но ручки не отняла. Пришла мать, увидела всю эту картину, бросилась к мужу, но сделать что-либо было уже поздно... Вот так и пошла Ритка по жизни с отцом рука об руку, лелея мечту стать хирургом. Мечта ее осуществилась только в Штатах: в Одессе поступить без блата в медин или даже

в медучилище было невозможно. Правда, когда Ритка наконец выбралась из Одессы милой, на хирурга учиться было уже поздно. Тогда она выучилась на старшую хирургическую сестру, и ее взяли в один из крупнейших детских госпиталей Америки.

Я всегда видела Ритку именно такой — верящей в мечту, и поэтому в школе мы спелись что надо. А если кому интересно, то до сих пор поем. Так вот, однажды перед хором сижу я и бацаю свою очередную «мурку». Ритка мне подпекает. А тут учительница по хору входит. Прислушивается, спрашивает, что это мы поем. Я жмусь, Ритка сразу все выкладывает, и у учительницы вдруг загораются глаза.

— Нет, правда? Это ты сочинила? Да у тебя же талант! Так тебе же нужно поступать в консерваторию на композиторское отделение! Так, слушай меня, я все устрою. У меня есть связи в консерватории. Я познакомлю тебя с очень известным и просто замечательным профессором по композиции. Я у него на курсе училась. Он высокий профессионал и очень хороший дядечка. Так что будь готова. Возражения не принимаются.

И сразу же родителей в школу вызвала.

Родители переполошились — давно их в школу не вызывали, с тех пор как мы бойкот классной объявили.

— Ну что ты опять натворила? — спрашивают.

— Ничего я не натворила. Просто песни свои играла.

Они переглянулись и стали решать, как быть — наказывать до или после.

Тут звонок в дверь, и появляется сама учительница.

— Вы простите за неожиданный визит, — начала она прямо с порога. — Просто я уже обо всем договорилась. Мне нужно только ваше разрешение.

— Простите, вы о чем? — после некоторого замешательства спросила мама.

— У вашей девочки талант. Понимаете? Талант. Ее нужно определить в консерваторию, чтобы она брала частные уроки у профессора по композиции, а когда придет пора, она будет поступать на композиторское отделение. Профессор нас ждет прямо сегодня.

— Ты хочешь стать композитором? — удивленно обернулась ко мне мама.

— Я? Я не знаю...

— Ладно, ладно, там разберемся, — вмешался отец. — Раз у вас назначена встреча, идите.

И мы отправились на встречу.

— У нас там два знаменитых профессора, — по дороге вводила меня в курс дела учительница, — один молодой, вальяжный такой красавец, тебе к нему не нужно. Я назначила встречу с тем, что рассказывала — в возрасте и серьезным.

Конечно, ей было виднее, но на того, неподходящего, тоже очень любопытно было бы посмотреть...

Учительница оказалась права. Профессор был мил и дружелюбен и чем-то напоминал мне соседа по коммуналке, которого я прозвала приемным дедушкой. Он расспрашивал меня о моих интересах, я честно призналась, что люблю литературу и хочу поступать на филфак, он одобрительно кивнул и попросил сыграть свои сочинения, что я и сделала, нисколько не волнуясь. Потом они уединились в соседней комнате, обсуждая что-то, а я сидела и рассматривала старинную обстановку кабинета. Особенно поразило венецианское окно, в котором улица смотрелась словно старинная картина в музее. Интересно, как бы в таком окне выглядел мой двор? Я стала представлять себе тщательно выписанные рытвины в асфальте, виноградную лозу, струящуюся по стене напротив, кошку, развалившуюся на деревянном столе... Нет, для такой картины венецианское окно явно не годилось.

Тем временем профессор с учительницей закончили обсуждение и вышли из комнаты. Учительница сияла.

— Я не ошиблась! Ты ему очень понравилась. Он сказал, что у тебя несомненный талант, — сообщила она мне, как только мы вышли на улицу. — Но он не хочет вмешиваться в твоё становление, хочет увидеть, куда ты пойдешь в смысле творческой направленности. Ты ведь и литературно одаренная тоже. Понимаешь?

— Ага. Значит, пока заниматься не будем? — уточнила я на всякий случай.

— Угадала. Он хочет, чтобы ты самостоятельно написала еще несколько вещей, а потом снова пришла. Ты обязательно должна это сделать! Пойми, тебе нужно в консерваторию!

Она была явно в приподнятом настроении. Я тоже. В особенности меня порадовало, что не нужно было пока ни с кем заниматься. Похожее было со мной на заре моих писаний. Мой отец подумывал повести меня в литстудию, но его друг отсоветовал, сказав, что самое ценное — это моя индивидуальность, а студия придавит ее и пригладит.

— Пусть сама развивается, а потом посмотришь, — сказал он.

И они за это выпили.

Так я продолжала творить на свободе.

Близилось 23 февраля. Когда-то мы встречали праздники всем классом, на квартире у Фели, у которой были музыка и понимающие родители. А теперь все переменялось. Мы с родителями переехали на Черемушки, Ритка уже давно жила в поселке Котовского, Курица, крутила шуры-муры с Юркой, Сабоня нашел себе даму сердца где-то на стороне, ну и так далее. Класс постепенно распадался на отдельные островки, словно готовясь к большой разлуке. Еще прошлым летом мы участвовали в жизни друг друга, собирались у Курицы, где она жила с бабушкой, воспитывающей ее, пока мама растила второго ребенка в новой семье. Курица была единственной, кто не знал родительской строгости. Жизнь ее тем не менее была не такой уж безоблачной.

Курица была по уши влюблена в Юрочку — одного из братьев-близнецов, живших в том же дворе. Юрочка отвечал Курице полной взаимностью, но его предки запретили ему даже близко подходить к ней. Дело в том, что Курица очень просто понимала жизнь. Например, она могла выйти во двор и хрустеть во всеулышание мацой, которую бабушка приносила из синагоги по праздникам. Такое бескультурье приличным родителям Юрочки было не по душе. Короче, Юрочку заперли, и если он и выходил из дому, то только под строгим родительским надзором. Тем временем чувства уже переполняли обоих, и если бы не кличка, которая Курице подходила идеально, ее бы прозвали Джульеттой.

Юрочка пытался объяснить родителям, что его дружба с Курицей никак не может испортить их репутацию, но родители были непоколебимы в своем решении оградить сына от чуждых элементов. Тогда Курица решила бежать в монастырь и почему-то ночью. Она попросила меня прийти к ней и проводить ее в этот путь. Было начало июля. Мы лежали на ее большой кровати, доставшейся ей от матери, и ждали, когда пробьет полночь.

— А ты хоть знаешь, где женский монастырь? — поинтересовалась я.

— На Шестнадцатой станции, — отвечала Курица сквозь зубы.

— Так там же, кажется, мужской...

— Не может быть!

— Да точно, мужской.

Полночь уже пробила. Курица встала и выглянула в окно.

— Ты что, еще с кем-то бежать намерелась?

Курица вдруг разрыдалась. Ее стала бить дрожь.

— Ты чего?

— Я... я не могу... Там... там Юрочка мой, — всхлипывала она, показывая на окно напротив.

С Юрочкой своим она встретилась окончательно и бесповоротно уже в Штатах, куда уехала с мужем, с которым вскоре рассталась, так как брак был не по любви. Как-то раз от нечего делать решила она пойти на вечеринку знакомств в каком-то американском захолустье. И тут разыгралась сцена, достойная Голливуда. Курица вошла и увидела прямо перед собой своего ненаглядного Юрочку. Это было невероятно, и она бы ни за что не поверила своим глазам, но его глазам — широко раскрытым, изумленным, почти сумасшедшим — поверила сразу. Как он, русский парень, не имевший возможности выехать даже в Польшу, мог очутиться здесь, в этой стране, в этом городе, на этой вечеринке? Они бросились друг к другу, совершенно ошеломленные, и больше уже никогда не разлучались. В прямом смысле. Юрочка имел свой бизнес. Так же, как Курица, он женился не по любви, уехал в Штаты, вскоре развелся и почти сразу купил огромный, как дом, грузовик, на котором и развозил по стране тяжелый груз. Юрочка был одинок, дом ему был не нужен, ни с кем он по-настоящему не сходиллся и на вечеринку зашел от нечего делать, просто выпить и поглазеть.

После первой ночи Курица, которая была два вершка от горшка, твердо заявила, что станет его напарницей по бизнесу и они будут развозить груз вместе. В короткий срок она выучилась водить этого монстра, а Юрочке пришлось лишь приспособить водительское сиденье так, чтобы его пассия могла доставать ножками до педалей, а ручками до руля. С тех пор они разъезжают по стране, ни на минуту не разлучаясь.

Все это ожидало Курицу в далеком и невероятном будущем. А той ночью она осталась дома и уже позже внушила себе, что влюбилась в другого Юру — Юрку из нашего класса по кличке Сокол. Сокола отличали необыкновенно острый ум и прекрасное чувство юмора. Но главным его достоинством были потрясающие математические способности. Он щелкал любые задачки как орешки. То, на что у нас уходил вечер, он решал на перемене за пять минут. И при этом всегда давал списывать. Только на контрольных им невозможно было воспользоваться, поскольку он заканчивал за считанные минуты, и учительница тут же отбирала у него тетрадь. По другим предметам Сокол перебивался с тройки на тройку. Просто не хотел прилагать ни к чему усилий. Он смотрел с иронией на весь этот учебный процесс, понимая его тщету и сиюминутность.

Сокол был под стать ей по росту. В остальном они так же подходили друг другу, как сокол курице. Когда Курица стала строить ему глазки, наивно хлопая густо накрашенными ресницами, он хмыкнул, но возражать не стал. Юрка понимал, что был суррогатом Юрочки — большой несчастной Курицыной любви, но ничего лучшего ему не светило, и, просчитав все варианты, он ответил на Курицыны ангажементы. Они начали встречаться, и с этого момента стала постепенно распадаться наша компания. Не потому, что Курица переметнулась к Соколу, а потому, что она предала дух наших отношений, сменив подлинное на подделку.

23 февраля Ритка предложила мне встретиться с ней в одной компании, куда ее позвала новая знакомая по поселку, некая Бэла. Мы договорились пересечься на конечной трамвая и поехали куда-то в сторону Пересыпи, напевая: «Но и Молдаванка, и Пересыпь / Обожают Костю-моряка».

Пересыпь совершенно не располагала к праздничному настрою. Нас встретило какое-то захолустье: скучные хибары, серый ландшафт, одинокие собаки и ободранные кошки. Хатка, в которую мы постучались, была под стать пейзажу.

На стук нам никто не ответил, хотя внутри слышались голоса. Мы толкнули дверь и очутились в комнате с низким потолком и столом, покрытым старой клеенкой. На столе стояло спиртное, в мисках остывал картофель, его окружали соленые огурцы и капуста...

— Чтой-то за чувихи? — поинтересовался кто-то вполголоса.

— А я знаю! Может, к Казаку.

Из боковой комнаты выныривали франтовато одетые мальчики и яркие девочки с разгуляем в волосах. Мысль о малине становилась все назойливее.

Нам кивнули — Ритку узнали, а ко мне исподволь присматривались. Было ясно, что это не то место, где мы задержимся. Тем временем к нам подошло несколько ребят, они вежливо представились. Одного из них — худощавого, с аскетичным лицом — звали Казаком. Он, похоже, был здесь главным.

Казак дал знак кому-то из своей группы, и его дружок стал разливать водку по стаканам.

— Ну что, выпьем? — спросил Казак.

Я вопросительно посмотрела на него, игнорируя протянутый стакан.

Казак хмыкнул.

Наливший терпеливо держал наполненные стаканы наготове. Ритка взяла их и быстро поставила на стол.

— С праздником, ребята, — прощепетала она. — Ну ладно, мы на минутку заскочили. Нам пора.

И мы выпорхнули на волю.

Шлось легко, но на душе было не очень. Вот тебе и новая компания, вот тебе и праздник! И главное, идти больше было некуда. Так и распрощались на остановке, вдыхая слякотный воздух конца февраля.

Все это вскоре улетучилось бы из памяти, если бы через пару дней я не получила записку от Ритки на уроке: «Что ты делаешь в воскресенье?»

«А что?» — ответила я, как полагается, вопросом на вопрос. Когда в Одессе отвечают вопросом на вопрос, это может иметь несколько значений. Ну, например:

— Бабки есть?

— А что?

Ответ может означать:

— Смотря на что.

Или:

— Щас разбежался тебе давать.

Или:

— Давай колись, в чем проблема.

Или:

— Отклейся.

Ну и так далее. Мой ответ означал, что у меня нет планов на воскресенье, и Ритка сразу это смекнула. «Казак просил встретиться», — написала она. «Зачем?» — «Хочет загладить впечатление».

На перемене она мне досказала, что договорились встретиться в воскресенье у нее к часу дня, ненадолго.

— Потом они уйдут по делам, а мы с тобой пойдем куда-нибудь. Может, в город съездим. Ну как?

В город съездить я не возражала, а с компанией Казака особого интереса встречаться не было. Но воскресенье есть воскресенье. Не сидеть же дома в безликом новом районе в квартире, которая была еще в разобранном состоянии!

В воскресенье с утра я села в троллейбус, и он повез меня к Ритке мимо моего двора, мимо школы, мимо детства... Было сыро, облачно, кое-где проглядывало солнце. Чувствовалось, что весна не за горами. Последняя школьная весна...

К Ритке я приехала чуть раньше, и она, моментально уловив мое настроение, открыла крышку старенького пиано и попросила:

— Поиграй...

Пока мы выпевали песни одну за другой, предаваясь воспоминаниям, раздался звонок в дверь.

— Это они, — сказала Ритка, вставая. — Прямо минута в минуту. Иду!

Я осталась сидеть.

— Привет, — слышалось в прихожей.

— Привет. Проходите. Пальто можно повесить на вешалку.

Казака я узнала сразу, а остальных не запомнила с того визита на гулянку.

— Вы присаживайтесь, ребята, — пригласила Ритка, указывая на стулья.

Я попыталась закрыть крышку инструмента, но Казак придержал ее.

— Ты играешь?

— Да так, — стараясь не придавать этому значения, отмахнулась я, собираясь встать.

— Нет, погоди... Погоди... Сыграй что-нибудь, — попросил он, присаживаясь рядом.

— Да я ничего такого не играю...

Ритка решительно вмешалась:

— Поиграй! Ну, давай же. — Она обернулась к Казаку. — Она у нас сама песни сочиняет!

— Ну да! Шутишь!

— Не шучу. Сыграй про дом, ну, сыграй!

Про дом я согласилась. Играла в полной тишине, и Ритка мне подпевала. Получилось как-то особенно душевно. При этом совершенно некстати вспоминалась та убогая хатенка на Пересыпи, и в душе зарождалась жалость к этим парням, у которых никогда не было такого дома. Все, что у них было — жилое помещение для сбора. Разница как между домом детства и детским домом. *Овеян сказкой добрый старый дом...* Наверное, для них эта сказка — всего лишь сказки, а в действительности никакого такого дома не существует. И зачем я согласилась им это играть?

Когда я закончила, Казак негромко попросил:

— Еще. Еще что-нибудь свое. Пожалуйста...

Было видно, что он взволнован. Песня явно тронула его. Гораздо глубже, чем того профессора из консерватории. Ну что ж... Я продолжила. Казак ничего не говорил, не откалывал дешевых комплиментов, а просто слушал.

Вскоре они ушли, вежливо попрощавшись.

Затем последовало новое приглашение. На этот раз на вечеринку по случаю 8 марта.

— Туда — ни за что! — решительно сказала я Ритке. — Еще не хватало себе весь праздник испортить!

— Ой, можно подумать у тебя есть другие планы! Это во-первых. А во-вторых, никто туда и не собирается. Вечеринка будет у Бэлки, она с бабушкой живет рядом с нашим домом.

— Ну чего я туда припрусь, подумай? Встретаться я с ним не собираюсь, — ответила я, понимая, к чему все клонится.

— Ну вот сама ему это и скажешь. Он ведь не отстанет. Они тебя неделю на троллейбусной остановке после школы встречали.

— Кто встречал? Никто меня не встречал! Еще чего не хватало.

— Да встречали они, просто остановки перепутали. Думали, ты тоже с поселка. Там и крутились на конечной по заданию Казака. Он велел тебя домой провожать до самой двери.

Ничего себе! Компания Казака прочитывалась легко. Одесса есть Одесса — в ней все и вся переплетаются, от профессора до вора в законе. Все мы вышли из одной виноградной лозы, из одних дворишков, одного моря и одной Дерibasовской, и увидеть, кто есть кто, особого труда не представляло.

— Не пойдешь — он узнает твой адрес и заявится к тебе. Оно тебе надо? — резонно сказала Ритка.

При мысли о том, что мой отец, капитан дальнего плавания, уважаемый человек в городе, вдруг увидит, с кем его дочь имеет дело, меня перетряхнуло. Он ведь второго вопроса не задаст — сразу с лестниц спустит эту шантрапу. И вдогонку еще накостыляет. Нет, оно мне совершенно не надо. Уж лучше действительно пойти и разобраться с Казаком без посторонней помощи.

В боевом настрое я отправилась на празднование 8 марта.

Нас уже ждали. Мы прошли в комнату, где тихо играла музыка. Там находилось несколько человек Казака, которые потом бесшумно исчезли. На смену им пришли другие, тоже очень тихие, неслышные. Это выглядело немного подозрительно — нигде не было ни выпивки, ни закуски, ни других атрибутов застолья, только коробка приличных конфет на журнальном столике. Не гулянка, а какая-то образцово-показательная вечеринка. На наших невинных школьных сборищах было куда красочнее: и галдеж, и танцы, и хохот, и музыка так редела, что за соседей было страшно. Ну а что было на вечеринке у Таты Яновой из школы Столярского, так я вообще молчу. Тата пригласила меня туда на свое шестнадцатилетие. Она была на два года старше, но боже мой, какая огромная разница была между нами! Все-таки школа Столярского — это вам не школа с немецким уклоном. Там всем по ночам снятся ноты, и пальцы музыкантов беспрестанно отстукивают что-то на подушке, и музыка витает над ними и мучает их сознанием собственного несовершенства. Школа Столярского — это богема и эмпиреи, трагедии и терзания, истерики и аплодисменты... И вообще... Там, говорят, некоторые особо одаренные девочки даже не сливали за собой воду в туалете, чтобы не растянуть связки, дергая за ручку бачка. За них это делали их мамы.

За пару дней до вечеринки Тата собрала девичник, где каждый обсуждал план действий по поводу того, как закадрить кого-то из списка приглашенных. Я не только никого из них не знала, но вообще понятия не имела о существовании таких стратегий.

Усевшись на диван, я с интересом слушала рецепты и формулы закадривания.

Подружки были уже в подготовительной форме — бигуди под косынками, какие-то мази на прыщиках. Одна из них призналась, что хочет охмурить Дракона. Это впечатлило не только меня. Подруги завизжали от восторга, а я попыталась представить себе, чем может быть привлекателен парень с такой кличкой.

Наконец день рождения наступил. Я надела идеально пошитое мамой новое платье в елочку с отложным воротником, а на шею бархотку с репродукцией рафаэлевской «Мадонны с горностаем», которую мама привезла из Польши. Подобрала волосы в хвост и предстала перед мамой.

— Ну, как?

— Красота, — одобрила мама.

Она еще не видела настоящей красоты, которая откроется мне через час.

Родители привели меня к Яновым в назначенное время, провели до дверей и ушли, сказав, что придет за мной к десяти.

Дождавшись, пока они спустятся по лестнице, я позвонила в дверь большой коммунальной квартиры. Мне открыла Тата вся в локонах соломенного цвета, источающая французские ароматы и с блеском в глазах под порхающими наклеенными ресницами. Такие ресницы я видела у мамы в коробочке рядом с бархоткой. Она ими никогда не пользовалась, чтобы не злить папу. Да маме они вряд ли бы и пошли. Тата же была просто создана для них. На ней еще были неимоверно модные украшения, при взгляде на которые рафаэлевская Мадонна стусевалась. А платье! Оно было такое стильное, такое обтягивающее и короткое, будто Тата сошла с экрана какого-то западного фильма. Я ахнула.

— Проходи, проходи скорей! — заторопилась она, не обращая внимания на мой восторг. — Все уже за столом.

Она распахнула двери в большую комнату, такую большую, что даже рояль у окна в ней растворялся, и ослепительная массивная люстра из чешского стекла над столом осветила неимоверной красоты девушек, узнать в которых тех прежних было невозможно.

Тата посадила меня во главе стола, будто я была именинницей, и это на несколько минут привлекло внимание к моей персоне. Со мной поздоровались, кто-то спросил, из какой я школы, кто-то предложил налить лимонада. Мне сразу стало хорошо и весело. Главное, что меня приняли за ту, какой я была, и теперь можно было, не стесняясь, попросить пирожное, не дожидаясь горячих блюд. В момент моя тарелка расцвела благоуханными кондитерскими изделиями сказочных форм.

— Дракон, положи мне, пожалуйста, немного оливье, — донеслось до меня сквозь гомон.

Очень приятной наружности молодой человек, полноватый и излучавший мягкость, передал оливье красавице, в которой я с трудом разгадала ту, в бигуди и с замазанными щеками.

— А тебе что еще дать? — спросил он меня, улыбнувшись неровным рядом чуть выпирающих и поставленных далеко друг от друга зубов. Тут я поняла, откуда у него такая кличка.

Потом начались танцы под какую-то невообразимо прекрасную музыку неотечественного производства. Она была просто создана для того, чтобы сманивать воображение в запретную зону под кодовым названием *их нравы*. Танцующие проплывали мимо меня в полузабытьи, то сближаясь, то отталкиваясь. Какая-то пара забыла оттолкнуться, и сближение переросло в непрекращаемый поцелуй. У девушки на плечах была полупрозрачная шаль, что делало ее похожей на бабочку, и она ежилась, как от холода, а парень пытался ее отогреть.

— Они подают документы в загс сразу после окончания школы, — донеслось от проплывшей мимо меня пары. Вздохнув, пара тоже погрузилась в длительный поцелуй.

Ничего подобного не было на вечеринке 8 марта. Я сидела в полупустой комнате с двумя парнями, похожими на телохранителей, и они не вымолвили ни слова. Мы с Риткой обменялись взглядами — мол, не пора ли сматывать удочки, — но тут вошел голубоглазый, невысокого роста молодой человек и мягким голосом сообщил, что Казак немного задерживается и уже совсем скоро будет.

— На разборках, — смекнула Ритка.

Мне совсем уже стало мутно, но из комнаты выйти было нельзя — все равно бы остановили и попросили обождать.

Примерно через полчаса Казак заявился. Одет с иголочки, в глазах вопрос.

Поздоровался, извинился за опоздание и пригласил меня на очень учтивый танец. Комната сразу опустела. Я даже не поняла, куда все подевались.

— Ну что, — сказал Казак, остановившись, — давай поговорим.

Я кивнула.

— Ты не против, если мы будем с тобой ходить?

Имелось в виду «встречаться».

— Ходить? Куда? — с иронией спросила я, прекрасно понимая, к чему он клонит.

Он опустил голову.

— Значит так. Я понимаю, что я тебе не пара, но я обещаю, все будет в лучшем виде. Понимаешь? Ты не пожалеешь, что связалась со мной. Сделаю все возможное для этого. Будешь довольна. Ты мне веришь? Веришь? Я слов на ветер не бросаю и лапшу на уши не вешаю. — Его глаза все еще отворачивали сталью недавних разборок.

Я прикусила язык и ответила затяжным молчанием.

— Слушай сюда. Ты должна мне верить. Все будет в ажуре, вот посмотришь. Все будет ништяк. Никто тебя пальцем не тронет. Шпану отгону, пыль сдувать буду. Тебя будут встречать и провожать. Будешь королевой. Слово даю. — Он занервничал. — Не молчи! Ну не молчи же ты!

Я продолжила молчать. Сказать «нет» было нельзя — он достиг взрывной точки. Сказать «да» было невозможно. Не сказать ничего было уже неприлично. На помощь пришла магическая формула ответа вопросом на вопрос.

И тогда я произнесла единственное, что вписывалось в этот диалог:

— Слушай, зачем тебе этот гембель?

Он прошелся по комнате взад-вперед, потом резко остановился и взглянул на меня.

— Так. Я понял.

Он стремительно вышел, хлопнув дверью.

Через пару минут вошел тот самый парень, что принес известие о Казаке.

— Можно тебя на минутку?

— Да, конечно.

Мы вышли из комнаты и направились к выходу. Как хорошо! Это облегчает дело. Больше я сюда не вернусь. Я оглянулась, ища Ритку. Ее нигде не было. Наверное, уже смылась. И правильно!

На лестничной клетке мой провожатый остановился и вдруг ни с того ни с сего стал мямлить какие-то банальности о том, как я ему нравлюсь. Поначалу я не могла понять, в чем дело. Но как только он сделал робкую попытку приблизиться, гнев обуял меня не на шутку. Не помню, что я там ему орала, но снизу, из пролета на помощь бежали парень с девушкой из нашей компании — на помощь не мне, а этому шлимазлу, который беспомощно озирался по сторонам. Меня почти насильно втолкнули в квартиру, чтобы я не скандалила на лестничной клетке. Но и там я все еще продолжала орать на осевшего, как снег весной, и утирающего пот с лица бедолагу.

Все наблюдали за этой сценой. Никто не вмешивался.

— Кончай базар! — наконец послышалось за спиной.

Из боковой комнаты нарисовался Казак.

— Как? Ты не ушел?

Он хмыкнул.

— Ладно. Все равно! — Я снова повернулась к бедолаге, который стоял на моем пути к выходу. — Пошел вон! Уберите же его отсюда!

— Да успокойся ты, — понизив голос, сказал Казак. — Он здесь ни при чем. Это была проверка...

— Что?!

Пелена моментально спала у меня с глаз. Казак устроил весь этот цирк, чтобы поддержать свое реноме. Все ведь знали, что сегодня я должна была дать ему ответ. Вопреки его ожиданиям ответ оказался отрицательным. На своем хуторе он отказа не знал,

и это не только ударило по его самолюбию, но и пошатнуло его авторитет. Ему нужно было во что бы то ни стало исправить эту ситуацию, изменить счет в свою пользу. А это было возможно только при условии, что отказ будет исходить от него. Вот он и придумал эту дешевую инсценировку, поставив «свидетелей» на лестничной клетке. И это, конечно, взбесило еще больше. Но чего можно было ожидать от того, кто вместо дома имел хазу, а вместо семейных традиций — волчий закон? Для него и Город ограничивался сферой влияния на его замухленной Пересыпи, и понятия чести ему были неведомы. Все, что он хотел, это выставить меня шалавой и выйти сухим из воды. Но и на сей раз его план рухнул с большим треском.

Я рванула дверь и выбежала из квартиры.

— Пстой! Уже поздно, — бежал он за мной, пытаюсь остановить меня. — Да стой же, возьми деньги на такси!

— Есть у меня деньги, — огрызнулась я.

— Да ни черта у тебя нет!

У меня действительно были деньги только на общественный транспорт.

Он схватил меня за руку, тормознул такси, объяснил, куда ехать, расплатился с водителем и отправил меня домой.

«Интересно, откуда он узнал, что у меня нет денег на такси?» — думала я по дороге. И вдруг вспомнила, как однажды ехала в автобусе, и какой-то молодой человек нечаянно толкнул меня. Я обернулась.

— Простите, девушка, — вежливо сказал он, став рядом. — А вы далеко едете?

— Не очень, — уклончиво ответила я.

— К парню?

Я промолчала.

— А я сейчас выхожу, — сказал он.

Я кивнула.

Автобус подъезжал к его остановке.

— Ну, пока! А сумочку лучше впереди держать, — посоветовал он напоследок и прыгнул со ступеньки автобуса.

— Девушка, девушка, — дернула меня за пальто сидящая передо мной женщина. — Это вор был. Он деньги у вас из кошелька вытащил, а потом все-таки назад положил. Совесть, видно, проснулась. А вы будьте в следующий раз бдительнее!

Все это проносилось в памяти вместе с темными улицами за окном. Впереди маячил строящийся массив, тоже темный и необжитый. Подумалось, что, наверное, так выглядит будущее, которое только предстоит обжить.

С Казаком мы больше никогда не пересекались.

РОЗА ВЕТРОВ

Природа спятила. Конец марта, а на улице грязь, дождь, оттепель. Это после недавнего обледенения. Комната во сне вдруг превращается в платяной шкаф, в чьи загробные потемки я отправлялась в детстве в надежде отыскать потайной ход в пространство теней и шорохов. Шкаф остался, воспоминания остались, а детство ушло, и с ним и дом, в котором все это жило. Теперь другой дом — ничейный, с какой-то общей историей, не имеющей ничего личного, своего. Это особенность высоток, в которые никто так и не сумел вдохнуть душу живую. То ли дело старый дом, с его охами и вздохами, закутками и ветрами, вальсирующими на чердаке.

Раз-два-три, раз-два-три.

Во сне все сближается, переходит одно в другое: пространство — во время, время — в пространство.

Раз-два-три, раз-два-три.

Черный бутон мерно разворачивается, раскачивая девятиэтажку по ту сторону сна.

— У-у-у! У-у-у!

Проходящий поезд усиливает колебания ветра.

— У-у-у!

Строители не учли розы ветров, и теперь эта гигантская черная роза распускается и ударяется о стекла своими слитыми с ночью упругими лепестками.

В старом доме такого не было. В старом доме был двор — он оберегал и защищал от ураганов, превращал их в простые ветра, обнимал стены, не позволял никому стучать и гудеть за окном. Их строили те, кто понимал, как рассчитать розу ветров.

Жилой массив отдан на расправу ураганам. Под них не уснуть. Они свишут на балконах и лоджиях, кувыркаются в мусоропроводе. В доме все дрожит. В узком нафталиновом чистилище шкафа призрачно колышутся вещи, издавая запахи своих владельцев. Запахи остались, а владельцы улетучились вместе со временем. Какие сны им снятся теперь?

Все спят. Есть только река сна. Я плыву по течению. Река мелеет. Каменистый берег посверкивает влажными, точно самоцветы, камнями. За ними начинается лес.

На одном из камней сидит Светловолосый. Похоже, и его только что принесла река.

— Кто ты? — спрашиваю.

Он чем-то напоминает мне месяц из детской сказки. И чем-то Сабоню, вечно молчаливого, у которого неизвестно что внутри. Глядя на Сабоню, я всегда думала: о чем он молчит? Молчит и смотрит, смотрит и молчит... Когда-то, на заре его прихода в нашу школу, что-то начало завязываться в воздухе, словно маленькие вихри пролетали между нами. Как пролетали, так и улетали, оставляя ощущение наэлектризованности пространства. Те, с кем я прошла путь до восьмого класса, были мне братьями, а Сабоня был пришлым. Он так и повис вопросом до самых последних дней в школе. Кем он был в моей школьной жизни? Как с ним попрощаться? Что сказать? Что ошутить в момент прощания?

Воспоминания перемежаются со сном в какой-то переходной зоне от сна к бодрствованию.

Светловолосый то размывается, то проясняется, грозя улетучиться вместе со сном.

— Кто ты? — пытаюсь дознаться. Как в детской считалочке: на златом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной — кто ты будешь такой?

— Не знаю. Я живу всегда в одно и то же время: с момента встречи и до ее окончания.

Похоже, это правда. В памяти вновь мелькает Сабоня, как он выходил из класса и переставал быть. Так мне казалось, когда я смотрела ему вслед и представляла, как он истончается до облака, и ветер несет его, как несет листву или фантики, а он плывет по течению, кружит, оседает где-то там, куда я не могу проникнуть.

Светловолосый по-прежнему сидит на камне, слегка туманясь под вибрациями сна.

— Ты бывал здесь раньше? — допытываюсь, желая понять, какая часть сознания закреплена за ним.

— «Раньше» — это то, чего не бывает со мной. У меня нет прошлого опыта.

Он даже как будто исчезает, пока произносит это.

— Знаешь, и у меня нет прошлого опыта, — спешу признаться я, чтобы задержать его, не дать ему рассеяться и снова мучить меня догадками. — У меня есть только будущий опыт. Понимаешь, мой опыт в будущем, а я — здесь.

— Как это?

Я сама не знаю, как это, но не могу же я сказать ему, что все это сон, зыбкая возможность хоть как-то поговорить. Он ведь такой боязливый! Большой боязливый мальчик. Как только узнает, что это сон, сразу и улизнет.

Светловолосый словно догадывается, что я отождествляю его с кем-то из своей жизни, и вдруг становится похожим на Сабоню с примесью кого-то другого.

— Идем, — говорит он, беря меня за руку. И теперь я точно знаю, что это не Сабоня. Даже на выпускном Сабоня не осмелится этого сделать. Так и пройдем мы молчком по улице и уйдем друг от друга на рассвете, не попрощавшись. Правда, потом он пришлет ко мне своего друга, который предложит мне встретиться, но ничего из этого не выйдет, ничего не сложится и не свяжется ни с кем, кто придет от него. Такова магия сна. Она распространяется иногда и на реальность, теснит ее, пытается материализоваться. Сабоня — продукт сна, не потому, что снится мне в данный момент, а вообще. Есть люди-сны, ускользающие и исчезающие при первых лучах солнца, люди, не держащие определенности, которой требует свет. Они всегда будут обитать в туманном царстве подсознания, тревожа, терзая загадкой и терзаясь сами.

Мы движемся по какому-то смазанному пространству, напоминающему облачность, в которую иногда попадает самолет, и она сгущается, сгущается до тех пор, пока уже совершенно ничего невозможно различить.

— Куда ты меня ведешь?

Я уверена, что объяснения не последует, но на сей раз я ошибаюсь.

— Мы идем в ту часть сна, где обитает закат, — отвечает он.

Это довольно неожиданно.

— А разве ты знаешь, что это сон?

— Конечно, знаю. И ты знаешь.

— Но если так, то почему ты тогда не уходишь, почему говоришь со мной?

— Потому что это сон и потому что ты этого хочешь.

Мало ли кто чего хочет во сне! Сны обрываются именно на том, что мы больше всего хотели бы узнать. *Сон боится всего настоящего, у него своя допустимая грань, от чувствительности спящего, истончается его ткань...* Это стихи из будущего. Как они здесь оказались?

— Но ты же сама сказала, что твой опыт живет в будущем, а ты — здесь.

— Какой же это опыт? Это стихи...

— А разве для них не нужен опыт?

— Что ты понимаешь в стихах! Ты всегда был равнодушен к литературе.

— Значит, это мой будущий опыт. — Он улыбается той улыбкой, которую я помню и которой он никогда не улыбался мне.

Он и здесь прав. Однажды он появится у меня дома, когда я буду на первом курсе филфака, и попросит почитать второй том Есенина. Я дам ему его по секрету от отца, который не разрешал ничего давать на вынос из своей библиотеки, и он исчезнет с томиком навсегда, как исчезают сны.

Из тумана начинают вырисовываться деревья, качающие закатное солнце в кронах.

— Мы почти уже пришли, — сообщает он. — Смотри, какой закат! Все небо в огне...

Он никогда не был оригинален в описаниях. Хоть бы во сне уже постарался!

— Для чего же я буду стараться? — отвечает он на мои мысли. — Разве мало тебе самой картины? К чему еще какие-то особенные слова? Постойм немного. А если ты захочешь полюбоваться звездами, мы отправимся дальше, где обитает ночь.

— Ты хочешь сказать, что в снах пространство привязано ко времени?

— В снах есть только время — от момента встречи и до ее окончания: время-река, время-степь, время-лес. Время-мужчина и время-женщина.

— Ну хорошо, давай остановимся на полдне и будем вечно встречаться в полдне. Это возможно?

— Нет.

— Почему?

— Потому что время — это логика жизни. Логика движения событий. А вечный полдень — это алогизм, это время, которое сошло с ума.

— Но зачем же тогда ты спрашиваешь, захочу ли я полюбоваться ночью?

— Потому что в ночи время-мужчина должно быть согласовано со временем-женщиной.

Сабоня не может так говорить, даже во сне. Это уже не он. Это уже бог знает кто. Не стоит даже выяснять, иначе весь сон пойдет наперекосяк.

Мы продолжаем двигаться к наступлению ночи, и время все плотнее наматывается на наши тела, становясь темно-фиолетовым. Оно сближает нас, отдаляя меня от детства, от старого дома. Осыпаются звезды, и он ловит их отблески на моих волосах и губах, еще влажных от реки, и когда я закрываю глаза, мне кажется, будто я уже в будущем, а от него осталось лишь воспоминание.

Мне хочется вернуть его, хочется продлить эту встречу, зная, что буду думать о ней всегда, думать об этой реке, о пути, по которому направил ветер мои сновидения... На его языке это означало бы, что время-женщина сошло во мне с ума.

Я отказываюсь принять его объяснения, его философию, я хочу сказать ему, что законы сна не распространяются на мир, из которого мы пришли, сказать, что в реальности ничего не исчезает, что пространство-время скручено из памяти звезд, людей и рек и что память — во всем, живая, меняющаяся, порождающая новые памяти... Но я не успеваю. Это — последние секунды, отпущенные нам.

Он истончается у меня на глазах и начинает напоминать многих и разных людей, вплоть до моей бабушки. Это крах. Лучше проснуться, чем досматривать эту галиматью.

— Ну почему все так, почему? — мычу я в подушку.

— У-у-у! — подхватывает кто-то то ли во мне, то ли в небе.

Черный смерч поднимает меня и тащит через лес, через поле, швыряет в речку против течения, и мне больно, когда я проталкиваюсь между двумя утесами, которые пытаются преградить мне путь, как стражники-исполины, охраняющие заповедные места.

Все кончено.

Дальше я плыву безвольно, закрыв глаза, и надо мной, набирая силу, мощно расцветает исторгнутый мною черный бутон.

ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ СУСАНИНА

В «А» классе учились дети парткомовских и обкомовских работников, дети директоров и ректоров, еще чьи-то дети. Все стремились отдать своих детей в класс учительницы Евдокии Ивановны, которая слыла самой строгой и требовательной из всех учителей младших классов. И это сказывалось на успеваемости. «Ашки» преуспевали. Причем все. Впечатление было такое, будто они там между собой соревновались, кто получит лучшую оценку, кого больше похвалят и заприметят, у кого будет меньше всего пропусков. Нужно было отдать им должное — все они пахали по-черному. Никто из них не позволял себе такой роскоши, как рассматривать желтеющие листья в окне на уроке математики или писать на биологии записку другу с предложением казенки. Все взгляды были устремлены на учителя, все помыслы были устремлены на получение необходимых знаний. В этот класс было страшно войти во время урока, такая там стояла полная боевая готовность.

Самым слабым был «В» класс. И самым невыразительным. У него не было своего стиля. Просто сбор разнокалиберных учеников с неярко выраженными способностями. Кто-то с кем-то дружил на переменах, но все это исчезало после окончания уроков, как наряд Золушки после полуночи. Из ярких там были только Илона и Игорь. Илона была известна нестандартным бюстом и тем, что встречалась со старшеклассни-

ками. После уроков ее иногда видели на Приморском бульваре, накрашенную и в окружении каких-то моряков неотечественного разлива. Позднее к ней присоединилась ее подруга, но в отличие от грандиозной Илоны она так и не стала достопримечательностью класса. Игорь выделялся смазливой внешностью и тягой к активизму. Он постоянно посещал то пионерские, то комсомольские собрания, хорошо учился и был явно ориентирован на большое будущее. В старших классах он стал ухаживать за преуспевающей Соней из «А» класса, и его вскоре перевели в тот же класс, чтобы дети не страдали в разлуке. Вскоре Игорь прослыл официальным женихом мечтательной Сони, и им позволялось даже держать друг друга за руки и обмениваться нежными взглядами. Учителя, проходя мимо, всегда грозили им пальцем. В шутку, конечно же. После успешной сдачи выпускных экзаменов блестящая пара появилась вместе на выпускном вечере, и все смотрели с умилением, как Игорь ухаживал за своей невестой, буквально сдувая с нее пылинки.

Они расстались на рассвете, он проводил ее до двери и больше никогда не появлялся в ее жизни. Говорят, Соня впала в депрессию, отказалась поступать в институт, но ее почти силком втащили туда, и она успешно окончила юрфак, став юристом. Наверное, чтобы вылавливать впоследствии таких негодяев, как Игорь.

«Ашки» сходились на почве учебы. Перед ними сразу была поставлена задача не посрамить марку класса и получить хороший аттестат. Ничего больше этого их не связывало. Нас же связывало все, кроме учебы. Учеба была фоном нашей жизни, но не ее главной составляющей. Наша классная руководительница — милейшая Ольга Дмитриевна — была душой первоклашек, которые липли к ней и продолжали липнуть вплоть до смены декораций. Благодаря ей в нашем классе с первого момента воцарилась атмосфера душевности.

С учителями отношения складывались по-разному, в отличие от «ашек», которые выдерживали ровный тон со всеми. Особенно недолюбливали мы учительницу по литературе и языку Сусанну Ивановну. Ее родители явно находились под впечатлением истории об Иване Сусанине, за что она и получила кличку Сусанин. Когда Сусанин бодрым шагом впервые вошел в класс, и без того находившийся под стрессом после потери Ольги Дмитриевны, всем стало ясно, что прежним доверительным отношениям пришел капут.

Сусанин был хитер и все время норовил сбить нас с толку. Например, он мог отвлечь наше внимание всякими душещипательными подробностями из жизни Герасима, о которых все и так уже были наслышаны, а потом вдруг вызывал одного из нас к доске и спрашивал, как звали домашнего лекаря барыни Герасима. Ну какой нормальный пятиклассник, которому со двора орут «Выходи!», обратит внимание на эту деталь! Если, конечно, он не из «ашек».

— Садись, два! — так обычно подытоживал Сусанин мучения у доски очередного бедолаги.

Сусанин требовал ежедневной подготовки и знания текста не понаслышке и муштровал нас будь здоров как. Мне он вообще продыху не давал. Мало того, что вызывал вне очереди, то есть когда я, по своим расчетам, могла отдыхать преспокойненько, так еще и норовил отправить меня домой с позорной четверкой. И это было запаadlo. Мои сочинения были самыми творческими в классе, но Сусанин, как назло, копался только в запятых и других мелочах, постоянно снижая мне оценку. Из-за его вопиющей злобредности приходилось готовиться к каждому уроку до конца отбывания срока в школе. Но Сусанину это даром не прошло. Я знала, в чем моя сила, и понимала, что иногда и Сусанин от меня зависит, причем по-крупному.

Дело в том, что каждый год у нас проводилась олимпиада старшеклассников по разным предметам, в том числе и по литературе. У Сусанина были имя и репутация в кру-

гу городских учителей, и, конечно, Сусанин стремился к тому, чтобы на олимпиаде прозвучали имена его учеников. Отличников по литературе в «А» классе было предостаточно. В нашем классе пятерки всегда получали идущие на золотую медаль Даша Мороз и Янка Гаусс. Я же колебалась между «пятеркой» и «четверкой», так как в творческом запале обязательно допускала какие-то мелкие огрехи. Морозко с Янкой считались «крепкими», то есть писали как надо, а я — не очень крепкой, но зато литературно одаренной. Разница как между добротной штампованной продукцией и уникальной вещью. Сусанин понимал в этом толк и держал меня на грани «пятерки» и «четверки», чтобы я не расслаблялась.

Участие в олимпиаде было как бы добровольным. Но «как бы» в данном случае не считалось.

Когда Сусанин вызвал нас с Морозко к себе после урока и предложил поучаствовать в олимпиаде, я наотрез отказалась. Это было ответом на его козни. Своего рода протест. Я ожидала, что отказ вызовет возмущение Сусанина с последующими репрессиями, но Сусанин вдруг подобрел и пообещал учесть мои старания в конце года, отпустив мне мимоходом пару комплиментов. Он был хитер и знал, как обернуть дело в свою пользу. Делать было нечего. Я согласилась. Но с одним условием: на заданную тему писать не стану, только на свободную. Сусанину ничего не оставалось, как тоже согласиться. Так состоялась эта сделка.

Свободная тема была отвоевана, но Сусанин даже представить себе не мог, как вольно обойдусь я с этой свободой. Он все-таки мыслил по старинке, в рамках правил. А я мыслила в рамках исключений. Сюрприз, который ожидал Сусанина, был почище того, который его тезка устроил ненавистным полякам.

Придя домой, я с воодушевлением взялась за перо. Ну, Сусанин, держись! Объектом своего сочинения я, не колеблясь, выбрала фильм «Генералы песчаных карьеров», который недавно посмотрела в каком-то кинотеатре повторного фильма и который — внимание! — шел с предупреждением «детям до шестнадцати».

Когда Сусанин увидел тему моего сочинения, он потерял дар речи. Мало того, что я проникла в кинозал незаконно, так я еще и осмелилась это обнародовать. Да где! На олимпиаде, которая шла через райком и горком. Это был удар ниже пояса. Но ничего поделывать уже было нельзя. Заявки были поданы в начале месяца, и заявленные работы должны были быть отправлены чуть ли не на следующий день после того, как я принесла Сусанину сочинение.

Несколько недель Сусанин со мной не разговаривал и даже не достаивал меня взглядом. На уроках литературы я отдыхала и ожидала своей годовой четверки или чего-нибудь похуже.

— Слушай, с чего это тебя Сусанин в покое оставил? — допытывался Зелинский, явно что-то заподозрив.

— Оставил и оставил, — отмахивалась я.

— Уж не написала ли ты ему тепленькое сочинение про Ильича? — хмыкал Зелинский, зная, что со мной такого произойти не могло.

— Какого еще Ильича? — вступилась за меня Янка. — Это я про Ильича писала, а она взяла свободную тему. «Генералы песчаных карьеров»...

Зелинский присвистнул.

— Ну, теперь жди наряды вне очереди от Сусанина.

Я и ждала. Вопреки моим ожиданиям за всю последующую неделю от Сусанина по-прежнему не последовало ни одного вопроса на засыпку, ни одного вызова к доске... Тучи сгушались с каждым днем.

— Не бери в голову, — всякий раз иронизировал Зелинский после урока. — Еще вызовет. Мало не покажется.

Он оказался прав, но только наполовину. Как по мановению волшебной палочки, мое зыбкое положение сменилось весьма устойчивым. В одно не очень уж прекрасное утро, когда хотелось подольше поваляться в постели и вообще предаться чтению более занимательному, нежели то, что навязывала школьная программа, я притащилась в школу. Не успела переступить порог вестибюля, как раздались громкие аплодисменты. Я быстро оглянулась, думая, что они адресованы идущему за мной, но оказалось, аплодисменты были в мой адрес. Прямо передо мной выскочил Зелинский и, энергично размахивая руками, стал показывать на стену в лестничном пролете. Я подняла глаза и, к своему изумлению, увидела огромный плакат с поздравлением победительницы в городской олимпиаде по литературе, которой оказалась я.

Что тут началось! Меня подхватили под руки и поволокли вдоль рядов прямо к лестнице, ведущей на третий этаж, где располагался наш класс. Звонок уже прозвенел, когда мы открыли дверь и ввалились в класс, где нас поджидал Сусанин.

— Ну что, голубчики, с опозданием вас! — произнес Сусанин с усмешкой, полностью игнорируя победный дух класса. — Еще раз такое устроите, всем будет снижена оценка по поведению в четверти.

Мы притихли, быстро заняв свои места и вытаскивая учебники.

— Так, кто у меня тут давно не отвечал... — Сусанин притворно уткнулся в журнал. — А, вот вижу. — Она подняла глаза на меня. — Ну, давай, голубушка, расскажи нам, какой там главный конфликт в «Капитанской дочке».

Я вышла к доске и поведала все, что потребовал Сусанин, не споткнувшись ни об одну деталь и ответив на все дополнительные каверзные вопросы. Сусанин слушал меня с каменным лицом, а когда допрос с пристрастием был закончен, сказал:

— Садись. Пять с минусом. Минус за опоздание.

Класс загудел, но тут Сусанин задал еще какой-то вопрос и полез в журнал — выискивать новую жертву. Все тут же притихли и с бешеной скоростью стали перелистывать страницы.

После занятий Зелинский предложил:

— А почему бы нам не отметить сегодняшнее событие походом в кино?

Идея пришлась всем по вкусу.

— А смотреть что будем? — поинтересовался Кучер, поглядывая на Ройтманшу.

— Как что? «Генералов песчаных карьеров», вестимо.

— Так они ж до шестнадцати! — загалдели все.

— Были до шестнадцати. А теперь табличку сняли, я сам вчера проверил.

— Как сняли?

— А вот так и сняли! Велика сила искусства слова. Слушай, а что ты там такого написала?

И тут я вспомнила. Сочинение заканчивалось риторическим вопросом: «Так стоит ли закрывать от нас ту жизнь вывеской „Только для взрослых“?» Под «той жизнью» имелась в виду нищета и прочие беды капитализма, о которых я живописала в сочинении со всей пылкой искренностью советской школьницы. Уж не знаю, было ли это простым совпадением, но в дальнейшем фильм в городе шел без ограничений на возраст...

А еще через два года, в десятом классе, я наконец расставила все точки над «i» в наших отношениях с Сусаниным, открыв ему глаза на то, чем в действительности был наш пресловутый десятый «Б».

По традиции Сусанин отдавал свой последний урок ученикам. Каждый класс должен был самостоятельно провести его, выбрав тему и показав, чему он научился. Объ-

зательное условие: урок был открытым. На него могли прийти учителя и ученики из других классов и вообще все желающие.

— Ну, че делать будем?— с усмешкой просил Сокол, когда воля Сусанина была объявлена.

— Будем веселить Сусанина, чтоб подобрел к выпускным экзаменам, — в тон ему ответил Зелинский.

— А идеи, вообще-то, есть какие-то? — поинтересовалась Ритка, которая всегда уважала предметное обсуждение.

Взгляды переместились на меня.

— Только вот не надо никаких премудростей! — заволновалась Курица. — И так времени ни на что нет.

— Курица, зачем тебе время? Ну на что ты его будешь тратить? — взъелась Ритка.

— Ладно, не ссорьтесь. Есть у меня идея, — сказала я. — Забудем про Сусанина и его предпочтения. В конце концов, урок — наш. Будем исходить из того, что нам самим интересно.

— Мне нравится твой ход мыслей, — с улыбочкой сказал Зелинский. — Так что же такое нам интересно? Просвети.

И я предложила тему любви.

— Та-ак, — задумчиво протянула Курица. — Стишки, что ли, о любви будем читать перед Сусаниным или как?

— Не будем, — заверил ее Сокол, с которым у Курицы недавно охладилась отношения.

— Я уж точно не буду. А то еще примет на свой счет, — сдохмил Буратина (мы называли его «Буратина», сменив окончание по типу «Юра»).

Это разрядило обстановку.

— В общем, так, — сказала я. — План такой. Нужно показать разные аспекты любви. Например, любовь материнскую, любовь к своим питомцам...

— Любовь к родине, — съязвил Сокол. Курица косо взглянула на него, но от колкости воздержалась.

— ...И все это многообразие проявлений любви выискиваем в литературе, находим подходящие эпизоды и готовим к последнему уроку. Есть идеи?

— «Муму», — сказал Чебурек.

— Отлично. Еще?

— А пусть на Герасима попробуется, — предложил Кучер.

— Точно! — подхватил Зелинский. — Ведь вылитый Герасим.

— Ну, хорошо, — согласился безотказный Чебурек. — Раз надо, так надо...

— А Прыткова пусть монолог Наташи Ростовской прочтет, — сказала Феля.

Прыткова польщенно кивнула.

— Ба! Так у нас еще Офелия готовая есть! — воскликнул Зелинский, указывая на Фелю.

Феля потупилась, но возражений с ее стороны не было.

— А я вот люблю «Тома Сойера», — ни с того ни с сего признался Фаш.

— Так ты сам вылитый Том Сойер! — воскликнула Ритка. — Разве я не права? Ну посмотрите на него!

У всех в памяти сразу возник Фаш, славящийся проказами в младших классах.

— Похож, похож! — послышалось со всех сторон.

— Ну, раз хочешь быть Томом Сойером, то тебе нужна Бекки, — сказала я. — Ритуха, ну как? Поддержишь?

— Да поддержку, как не поддержать!

Фаш расплылся в улыбке.

— А ты, Лизунчик, кого хотела бы сыграть? — вкрадчиво спросил Зелинский.

— Душечку, кого же еще! — ответил вместо Кошелевой Сокол.

Все взглянули на Кошелеву и согласно закивали.

— Не возражаю, — кокетливо согласилась Кошелева.

— А я хотела бы быть Элли из «Волшебника Изумрудного города», — несмело сказала Ольга.

Все немедленно согласились, учитывая ее тяжелое детство.

После того как репертуар был согласован, мы разбежались по библиотекам.

Сценаристом и режиссером последнего урока стала я. Предстояло отобрать небольшие, но яркие монологи и диалоги, начать прослушивание с репетициями, обсудить костюмы и т. д. и т. п. Подготовка шла втайне от других классов, чтобы никто не повторял идеи другого, и втайне от Сусанина. Это было еще одним условием Сусанина, который благородно устранился, чтобы в конце пожать плоды нашего труда. Забегая вперед, скажу, что «ашки» выбрали тему «Одесса» и сделали все так формально и наспех, что Сусанин даже расстроился. Это ведь был его образцово-показательный класс! Хитрый, но недалековидный Сусанин просто не учел, что после того, как годовые были практически выставлены, никто в нем больше не нуждался. «В» класс вообще ничего не сделал, потому что и на годовые, и на Сусанина им было глубоко наплевать. А мы...

А мы неустанно репетировали, придумывая мизансцены и заучивая текст, и так увлеклись, что почти забросили подготовку к контрольным и экзаменам. Мне еще до сих пор снится, как я вдруг спохватываюсь, что ничего не прочла для экзамена по истории или не дорешала задач по тригонометрии. Уверена, что в нашей стихийно сложившейся театральной труппе подобный сон посещает не меня одну...

Наконец настал день премьеры. Все сидели за партами в самодельных костюмах и ждали появления Сусанина.

Сусанин появился минута в минуту в сопровождении еще двух учителей — исторички Лидии Филипповны и химички Галины Николаевны, которая впоследствии поставила мне пятерку на выпускном экзамене за то, что, как она считала, у меня талант великой актрисы. Правда, предварительно взяв с меня слово, что я не буду поступать в вуз, где сдают химию...

Мы поднялись, приветствуя вошедших.

— Садитесь, — сказал Сусанин и занял с учительницами места на галерке.

Урок должен был открываться моим вступительным словом. Я вышла на середину класса и сказала:

— Ни для кого не секрет, что урок литературы всегда был одним из самых стрессовых. Волнение, которое каждый из нас испытывал, когда Сусанна Ивановна открывала журнал, можно только изобразить... — С этими словами Чебурек, как было заранее условлено, вскочил с места и сделал безумное лицо. Руки его тряслись. Галерка взорвалась смехом. Я продолжала: — Но даже страх угрозы получить плохую оценку не может сравниться с тем волнением, которое испытываем мы сегодня, в последний раз представ перед взыскательным оком Сусанны Ивановны...

— Можно просто Сусанин, чего уж там! — отпарировала Сусанна Ивановна.

Партер взорвался ответным смехом.

— Мы долго думали, как лучше построить наш последний урок, чтобы выразить благодарность и вместе с тем показать, чему мы научились за эти годы. И не придумали ничего лучше, чем, оставаясь собой, обратиться к литературе и поведать о самом сокровенном. Тема нашего последнего урока — любовь. За порогом школы нас ждет жизнь, которая сама есть и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Литература учит любви. Но увидеть это самому совсем не просто. Вы научили нас видеть...

Заиграла музыка, которую мы заготовили для нескольких сцен, и Ритка в шляпке с полями медленно двинулась с Фашем по направлению к доске, ведя беседу Бекки и Тома.

— *Вы любите крыс?*

— *Терпеть не могу.*

Класс грохнул. Фаш, не обращая внимания на бурную реакцию, ответил с нарастающим вдохновением, меняя предлоги на одесский лад, что сделало его монолог еще более натуральным:

— *Ну да, живых — я тоже. Но я говорю задохлых, которых можно привязать на веревочку и махать ими вокруг головы.*

С этими словами он неожиданно вытащил из кармана шнурок, на котором болталось что-то серенькое, и стал раскручивать его над собой. Ритка взвигнула. Ничего подобного на репетиции не планировалось. Ай да Фаш!

Да, о таком Томе Сойере и такой Бекки можно было только мечтать. А когда его Том, смущаясь, сделал предложение Бекки, это прозвучало так, будто Фаш и впрямь просил Риткиной руки. Как знать? Может, так и было, учитывая его давнюю симпатию к ней. Во всяком случае, на репетициях этот подтекст не возникал, а тут — все даже притихли, ожидая Риткиной реакции. Она вопросительно подняла брови, а он продолжал словами Тома:

— *Просто вы говорите мальчику, что вы будете его всегда, всегда, всегда, а потом поцелуетесь с ним, и все тут. Всякий может сделать это.*

Если Фаш и впрямь имел в виду что-то личное, то это был его единственный шанс. Ритка всегда отметала его ухаживания, и довольно резко притом. Как бы то ни было, Фаш был удивительно натурален, и казалось, он действительно надеялся на поцелуй. Увы! Ритка ограничилась воздушным поцелуем, хотя мы договаривались, что поцелуй будет в щечку. Фаш тут же погрустнел, но она уже потащила его за рукав к их парте.

Тем временем вниманием зрителей завладела Душечка, которая прямо с места обратилась к ошеломленному Сабоне, самому рослому в классе, и провела с ним сцену с мальчиком Сашенькой, говоря:

— *Сашенька, вставай, голубчик! В гимназию пора...*

Все за бока хватались. Сабоня же, для которого это было полной неожиданностью, сначала стушевался, а потом стал подыгрывать Кошелевой, поминутно зевая и протирая глаза.

Почти в самом конце вышла Ольха с плюшевым песиком в руках. Прижимая его к себе, она тихо и быстро пролепетала:

— *Мамочка, а теперь волшебники есть?*

Мама у Ольхи умерла, когда она была в третьем классе. Когда это произошло, ее неделю не было в школе. В ее отсутствие учительница объяснила нам, что случилось, но никто все равно не мог понять, о чем она говорит, как мама вообще может умереть. На следующий день мы отчитались друг перед другом до начала уроков.

— *Моя жива, — сказала Фея.*

— *И моя, — сказала Курица.*

И так мы опросили весь класс. Это немного успокоило, возникло даже подозрение, что учительница что-то не так поняла, но когда на следующей неделе появилась Ольха с черной лентой на голове вместо пышно повязанного белого банта, сомнения рассеялись. На перемене мы обступили ее, и она рассказала, как перед смертью мама попросила, чтобы отец привел дочь к ней в больницу попрощаться. Она хотела что-то сказать, что-то важное. Но Ольха так ничего и не поняла.

— *И зачем она меня вызвала туда? — недоумевала она. — Я ей: «Мама, что ты хочешь?» А она мне: «Ира, Ира...» Что Ира? Ну что Ира?*

Казалось, она была недовольна, даже рассержена на мать. Но так она просто прятала недоумение и страх. С этого момента Ольга всегда ходила с одним и тем же изумленным выражением глаз и говорила почти шепотом.

Роль матери и дочери в отрывке из «Волшебника Изумрудного города» Ольга решила играть сама. Когда наступила очередь материнской реплики, она оторвала песика от себя, и он словно ожил у нее в руках, двигая лапками и махая головой.

— Нет, моя дорогая, — отвечал песик, — жили волшебники в прежние времена, а теперь перевелись. Да и к чему они? И без них хлопот хватит.

В классе воцарилась гробовая тишина. Было более чем ясно: Ольга разыгрывала перед нами внутренний монолог со своей мамой, которых у нее, наверное, было предостаточно в течение этих лет.

Ольга продолжала:

— А все-таки без волшебников скучно. Если бы я вдруг сделалась королевой, то обязательно приказала бы, чтобы в каждом городе и в каждой деревне был волшебник. И чтобы он совершал для детей разные чудеса.

— Какие же, например? — спросил песик.

— Ну, какие... — призадумалась на минуту Ольга и понесла отсебятину: — Чтобы можно было вернуть назад время и чтобы можно было все исправить и переписать начисто, как в тетрадке по русскому языку...

Урок завершился чтением монолога Джульетты в моем исполнении под музыку Нино Рота. Как только зазвучали первые такты его чарующей музыки, сидящие за одной партой (я рассадил всех парами), повернулись лицом друг к другу, взяли за руки и продолжали так сидеть, пока монолог не закончился.

В глазах у железной леди стояли слезы.

— Вы были моим самым тяжелым, самым непокорным классом, — сказала она срывающимся голосом. — Мне казалось, что мои ученики были в «А» классе. И только теперь я поняла, что мои настоящие ученики были здесь...

Спустя лет пять я встретила на улице Ольху. Мы обменялись новостями. Семьи у нее не было, она окончила кулинарный техникум и работала в какой-то столовой, потом появился человек, но она не была уверена, хочет ли отношений... Все это она рассказывала с тем же изумленным выражением глаз. А на прощание вдруг призналась:

— Знаешь, наш последний урок мне снится... Это самое светлое, что было у меня в жизни.

БОЙКОТ

Последний урок обернулся острой ностальгией для всех нас, включая и учителей, присутствовавших на нем. Мы просто заболели им и практически сразу после того, как урок был закончен, вместо радости ощутили глубокую, глубокую грусть.

— Вот бы повторить еще разок! — мечтали мы между собой, понимая, что это практически невозможно.

Этому настроению не поддался только Зелинский.

— Остановись мгновенье, ты прекрасно, — усмехался он. — Помните, чем все закончилось?

— Это ты у нас начитанный, — тоже с иронией отвечал Сокол. — А мы люди простые, нам бы в машине времени прокатиться разок.

— Ну, прокатитесь, прокатитесь. Позади вас ждет светлое прошлое.

— Чего ты, Зеленый, в самом деле? — протрубил Парибон басом.

— Да ничего. Просто чтоб знали, что светлое прошлое — это такая же химера, как светлое будущее. А так — катите, куда хотите. Только не говорите потом, что я не предупреждал.

Дело шло к завершению, дописывались годовые контрольные, подтягивались хвосты, подготовка к выпускным шла вовсю. Казалось бы, ностальгия должна была отойти на задний план. Ан нет! Атмосфера ухода только обостряла желание вновь пережить очарование последнего урока. И тут вдруг на истории Лидия Филипповна обратилась к нам с предложением. Начала она издаലെка — с новости о том, что нашу бывшую классную руководительницу Грету Самойловну недавно положили в больницу с раком груди, затем прооперировали, и теперь она дома. Мы вопросительно уставились на историчку, пытаясь понять, что конкретно она имеет в виду. То, что Грета Самойловна так серьезно захворала, вызвало, конечно, общее сочувствие. Мы даже оторопели от такой новости. Но, с другой стороны, Лидия Филипповна ведь была в курсе скандала, который произошел у нас в прошлом году с Гретой!

История была и впрямь не из приятных. Грета слыла самой сильной немкой в школе и даже в городе. Ее произношение, знание языка, умение красиво и точно перевести любой текст, а также великолепная техника синхронного перевода сделали ее известной в среде переводчиков. Частые приглашения в германское консульство были обусловлены именно этими ее талантами. В группу к Грете Самойловне попасть было почти невозможно. Каждый родитель, отдавший свое дитяtko в спецшколу с немецким уклоном, мечтал увидеть его бегло говорящим на немецкой мове, в которой ученики Греты Самойловны преуспели куда больше, чем в украинской. Одна треть нашего класса была продвинутой в плане немецкого языка, а другие две трети валяли ваныку с Анной Андреевной и Светланой Андреевной. Их отчества были полнейшим совпадением, и они отличались друг от друга. Анна Андреевна не видела причин для напряжения, и уроки у нее проходили в светских беседах с вкраплениями немецких слов. Светлана Андреевна старалась больше, но до Греты ей было как до Рейхстага.

Короче, Грета звездела так долго, что и сама уже перестала волноваться по поводу возможной конкуренции. И тут, прямо как по Пушкину, на вопрос о том, кто на свете всех милее, зеркальце в учительской голосом директрисы поведало Грете, что приехала из зеленого дубравы некая Маргарита Петровна, мужа которой командировали в Одессу. Эта Маргарита Петровна уже покорила полконсульства и консула в придачу и получила прекрасные рекомендации. По мере поступления информации от директрисы губы Греты Самойловны сжимались все плотнее, и не успела директриса оповестить Грету о том, что берет эту Маргариту Петровну в штат, как в учительскую влетела Маргарита собственной персоной. В ореоле смоляных волос и в развевающейся белой кружевной блузке с воланами она привела в движение сквозняки и другие опасные силы учительской и затараторила на немецком, приветствуя Грету Самойловну. Грета оторопела, но быстро взяла себя в руки и протараторила несколько ответных любезностей. Начало войны было положено.

Маргарита была молода, энергична, хороша собой. Грета была немолода, суха в обращении и с внешностью немецких переводчиц. Стихи и проза, лед и пламень — это было о них, и все дальнейшее развивалось в пушкинском русле. И неудивительно! Школа ведь была имени Пушкина! Его огромный портрет висел в вестибюле, а дух его витал во всех уголках школьного пространства.

Сама того не подозревая, Маргарита в короткий срок наделала много шума. Слух о ней пошел по всей Одессе великой, и родители спешно ринулись к директору, упрашивая, чтобы их детей срочно перевели от Светланы Андреевны или Анны Андреевны к Маргарите Петровне. Обе с облегчением вздохнули. У них не было амбиций Греты, но зато было невероятное количество контрольных и домашних заданий. Так Маргарита попала к нам, разделив одну из групп с Анной Андреевной, а другую с Гретой Самойловной. За это Грета посоветовала директрисе отдать вдобавок наш седьмой «Б»

под классное руководство Маргариты, которая как-то обмолвилась, что не имела никогда опыта работы классным руководителем.

К тому времени восхищение Маргаритой достигло пика. Она сумела сделать то, чего не смог ни один из учителей немецкого, включая Грету. Маргарита сделала немецкий языком общения. До нее немецкий был всего лишь предметом для изучения, скучное единство словаря, грамматики и синтаксиса — мертвые знания, которые никому не могли пригодиться в будущем за исключением особо одаренных. И действительно, к чему было изучать язык, если вылезти за пределы страны не было ни малейшей возможности даже под предлогом обмена опытом? С приходом Маргариты все переменялось, словно она окропила наши скудные знания живой водой, и сразу стало ясно, что с ними делать. Став нашей классной руководительницей, Маргарита постоянно переходила на немецкий, и эта форма общения приобрела оттенок секретности, наподобие того, как это было, когда немки хотели сказать друг другу что-то, что было не для нашего слуха.

Теперь и мы пользовались этой возможностью на переменках и после занятий, выучив идиомы, которых не знали наши сверстники и тем более учителя по другим предметам. Наш словарный запас, произношение и беглое владение устным языком стали на порядок выше. И даже отстающие изо всех сил подтягивались, чтобы не хлопать ушами и быть в курсе происходящего.

Поначалу Грета ничего не заподозрила и тараторила в нашем присутствии как ни в чем не бывало. Но в один прекрасный день кто-то не выдержал и хмыкнул на одну из ее реплик, брошенных Маргарите, и у нее вытянулось лицо. Она гневно взглянула на Маргариту и быстро вышла из класса.

Наши успехи Грета расценила как посягательство на ее вотчину, а Маргариту — как предателя, выдавшего противнику военную тайну. С этого момента она никогда больше не заходила в наш класс во время уроков и очень сухо здоровалась с Маргаритой. Мы же веселились вовсю, набирая словарь и продвигаясь вперед семимильными шагами.

Два года с Маргаритой перевернули наши представления о многом. Седьмой и восьмой классы прошли под знаком демократичности отношений между нами и ею, нашим классным руководителем. Маргарита была демократична по природе. Она не притворялась, не стремилась завоевать наше доверие панибратским отношением. Даже наоборот, учила нас почтительности и уважению, но делала это как друг, который делится опытом, а не в качестве назидания. Это еще сильнее спланивало нас вокруг нее. Нам действительно было интересно ее мнение, почему она думает так, а не иначе по тому или иному вопросу, и это становилось предметом обсуждения.

Все оборвалось в девятом классе. Первого сентября Маргарита объявила нам, что ее мужа командировывают в другое место, а это означало только одно... В классе воцарилась тишина, будто это не мы только что радостно галдели, приветствуя Маргариту — загорелую, стройную, напитавшую наше черноморское солнце.

— Да не переживайте вы так, у нас еще полно времени, — лепетала Маргарита, сама растерявшись от такой реакции.

— Сколько? — выпалила Фея, будто речь шла о жизни тяжелобольного.

— До декабря...

Это немного успокоило.

— Потом я вам свой новый адрес оставлю, будем писать друг другу...

Но Маргарита ошибалась. До декабря ей продержаться не удалось. Заслышав о том, что ее соперница покидает школу, Грета немедленно взяла дело в свои руки. Она побежала к директору и стала убеждать ее, что нехорошо в середине года менять классного руководителя и что нужно все оформить в начале, включая и новые немецкие группы. Об этом нам поведала Прыткова, которую Сусанин отправил в учительскую прине-

сти очки, забытые на столе. Дверь в кабинет директрисы была приоткрыта, и Прыткова, которая собиралась уже бежать обратно, вдруг услышала весь разговор и почти забыла о поручении.

Когда она наконец появилась в классе, на ней лица не было.

— Что-то ты сегодня долго за очками бегала, — пробормотал Сусанин, кивая в знак благодарности.

Прыткова тихо села на место и просидела так до звонка, не поднимая глаз. Поле урока она прикрыла дверь и жестом попросила всех оставаться на местах.

— Слушайте, — начала она прерывающимся голосом, — Маргариту забирают.

— Что? Куда? Кто забирает?

Еле сдерживая слезы, Прыткова поведала нам все, что слышала.

— Сволочи, — процедила Феля сквозь зубы. — Пожалеют еще!

На следующий день Маргарита пришла в класс заплаканная и после урока стала прощаться. Мы окружили ее, ни о чем не спрашивая. Все было так безнадежно, что дальше уже некуда.

— А знаете что? — сказала Маргарита перед тем, как уйти. — Приходите-ка ко мне. Посидим, выпьем чаю с тортом.

Все резко повеселели.

— Конечно, придем! И торт захватим.

— Да не нужно, я сама испеку... — Маргарита заулыбалась. — А если понравится, то рецепт дам.

В назначенное время мы явились к Маргарите с кульком шоколадных конфет и открыткой, которую сочинили все вместе.

— Раз торт у вас уже есть, мы вам конфеток принесли, — сказала Феля, отдавая кулек, а заодно и открытку.

Маргарита взяла открытку, и слезы так и хлынули у нее из глаз. Открытка была написана нами по-немецки. Это было объяснение в любви с благодарностью за все, что Маргарита для нас сделала, и клятвенные заверения в том, что мы никогда, никогда не забудем то, чему она нас научила. Имелись в виду не только познания в немецком, но и понятия чести, которые она сумела нам привить.

Мы даже представить себе не могли, что совсем скоро наши клятвы пройдут испытание на прочность. Произошло это уже в десятом классе. Когда все и так стало распадаться, у нас появилась новая немка — практикантка из иняза. Анна Андреевна привела ее в нашу группу и представила:

— Это Мария Ильинична. Она проходит практику в нашей школе. Прошу любить и жаловать.

Хоть практикантка и была одета по школьным стандартам, но было видно невооруженным глазом, что никакая она не Мария Ильинична, а самая что ни на есть борзая Машка. И впрямь, как только Анна Андреевна оставила нас с ней наедине, Машка легким движением руки сняла резинку с туго стянутых волос, плюхнулась на стул и, мотая облегченно головой, вытянула длинные тонкие ноги в туфлях из Торгсина.

— Уф-ф!

Около минуты мы созерцали, как она взбивала руками рыжую копну освобожденных волос, расплзаясь в напояженной улыбке.

— Терпеть не могу эти школьные условности, — наконец вымолвила она низким с трещинкой голосом. — Ну что ж, давайте знакомиться. — И она с легкостью перешла на немецкий, который шел ей куда больше, чем школьный русский.

Машкины уроки не стоили доброго слова. Она болтала без умолку о себе и о своих представлениях о жизни, будто ее персона вообще кого-то интересовала. Нет, маль-

чишки, конечно, повелись на нее, в особенности когда она заявила на следующий день в прикиде то ли с Толчка, то ли с того же Торгсина, выставявшего на обозрение ее тощий низ и плотный верх. Но ненадолго. Чебурек покрутился возле нее ради понта, но на Прыткову это не произвело никакого впечатления, и он быстро отпал. Дольше всех крутился возле нее Кучер, но как только Ройтманша перестала с ним разговаривать, тут же угомонился.

Сабоня несколько раз понуро глянул на нее, но потом и вовсе перестал замечать. То ли соблюдал верность своей новой пассии, то ли стыдился общего обозрения. Машка, наоборот, не только не стыдилась, но и жаждала его. Она не могла жить без двух вещей — обозрения и длинной черной сигареты, которую раскуривала с нами в развалинах на школьном дворе.

— А че, неплохо тут у вас, — сказала она, когда на вопрос, где можно покурить, мы отвели ее за школу. — Угощайтесь, — она протянула нам пачку «Мого».

Мы с Риткой застенчиво взяли сигарету на двоих, Курица вытянула одну для себя, Янка воздержалась, а Феля вообще не курила.

— Да берите сколько хотите, — сказала Машка, видя, что мы стесняемся. И бросила пачку на стол. — У меня их много. «Philip Morris» есть, «Salem»... Вы с ментолом любите?

Разговор завязывался. В смысле, мы молчали, а Машка развязывала язык. У нас был девичник, так что вырисовывался треп по душам.

— Ну, как девки? Лады у вас тут с вашими... ну... этими...

— Огурцами, что ли? — звонко спросила Ритка.

Машка залилась хриплым смехом.

— Ну да, с ними самыми... — Поскольку ответа не последовало, она продолжила: — Эх, девки, девки... Где мои школьные годы!

И пошла чесать языком про свои приключения в подворотнях.

— Мутерша доставала меня тогда по-черному. Не поступишь никуда, орет, экзамены на носу, а ты ни в зуб ногой! А с чего бы это мне не поступить? Отец у меня — о-го-го кто в городе! А тут еще и репетитор с иняза не простая шишка. Я в мини-юбке к нему как завалю, так урок у нас на час дольше без перерыва. При этом все на немецком, заметьте! — она расхохоталась. — Я способная. На лету все схватываю.

— Вот оторва! — процедила сквозь зубы Курица, когда мы наконец отделались от Машки. — И как только такие в иняз попадают!

Машка была больная на всю голову. Ей ужасно хотелось ходить в наших подругах, сравняться с нами по возрасту, внедриться в наши отношения. Мальчишки постепенно стали ее презирать. И делали это открыто до неприличия. В Машкином присутствии они проходились вслух по ее внешнему виду, да так, что мы какое-то время даже перестали их узнавать. Это были не наши мальчишки, это были какие-то пацаны с площадок и дворов, которых мы сторонились. Машка, словно вирус, меняла в них что-то изнутри, вытягивая на поверхность накипь и прогрызая червоточины в атмосфере класса. Мы прозвали ее между собой злым гением. Она проникла в нашу среду под маской свободы, которая ничего общего со свободой не имела. Она была рабой страстей, больной, с изломанной психикой, стегающей ее хлыстом жгучей неудовлетворенности. Мальчишки язвили, когда она входила в класс:

— О, неуд явился!

Машка расцветала, думая, что они комплимент ей откалывают, мол, ученица с плохим поведением.

— Я женщина свободных взглядов! — любила она повторять, явно желая, чтобы имидж свободолюбия закрепился за ней. Но мы-то хорошо освоили с Маргаритой разницу между свободой и гуляй-вася.

Всякий раз слушали ее чушь и думали, что наваляла бы она дров тут у нас, кабы не школа Маргариты, которая закалила наш иммунитет против таких вот Машек. Жалели, конечно, что Маргарита не с нами, но как хорошо, думали, что она у нас была!

Машка не дотянула до положенного срока. Ее отправили восвояси через три недели, в начале апреля.

Мы нарочито медленно собирали вещи в конце урока, стараясь избежать прощального ритуала, но она терпеливо дожидалась нас и двинулась в нашей небольшой девчоночьей стайке к выходу.

Когда мы вышли, она достала пачку сигарет и, кивнув в сторону развалин, спросила:

— Ну что, покурим на дорожку?

Мы замаялись и уж было собирались что-то ответить, но Курица нас опередила.

— Что, валишь? — спросила она Машку.

— Валю, — хмыкнула Машка. — Хахаль хочет меня взять на пару недель, проветрить. Позвонил вашей директрисе, все обтяпал. Он у меня такой... Покровитель. Без покровителей нам никуда... Учитесь, девки! В жизни пригодится.

— Валишь и вали! Чего стала? — огрызнулась Курица. — Советы она тут раздает. Прощандовка...

— Курица, ну зачем ты так, — подобрев, вступилась Ритка, которая сама уже была на грани закипания.

Машка не ожидала такого поворота и застыла с вытянутым лицом и пачкой сигарет в руках.

— И курево свое не суй тут! — не отреагировав на Риткину реплику, продолжала Курица, наступая на Машку. — Че стоишь? Вон пошла, я сказала.

Машка повернулась и пошла прочь. Мы смотрели ей вслед, пока она не исчезла за углом, а потом повернулись к Курице.

— Ну и как это называется? — спросила Ритка.

— Так, чтоб больше не бухтели! Рассказываю, — сказала Курица. — Я эту тварь в коридоре, где мужской туалет расположен, засекала.

— Где? — почти выкрикнула Ритка.

— Что ты там делала? — ей в тон спросила Фея.

— Мимо проходила, что! — рассвирепела Курица. — Дадите досказать или нет?

— Давай валяй, — сказала Фея.

— В коридоре ты ее увидела. Ну и?.. — не отрывая взгляда от Курицы, спросила Ритка.

— Ну и увидела, как эта шалава там с ножки на ножку переминалась в кругу наших мальчишек. Дверью ошиблась, бормотала, не постоите ли на стреме, пока я тут... Очень хочется, говорит, не добегу...

— Дальше.

— Дальше я к директрисе завалила без стука и такой хаеж подняла, что ее со стула в момент сдуло.

— Ну?

— Что ну? Директриса помчалась к туалету, но мальчишки уже и без нее дали этой шалаве оторваться. Директриса вбежала в тот момент, когда они ее к выходу выпихивали, а она: да что вы, да я ведь случайно, да я никому.

— Она тебя видела?

— Какое видела! Я спряталась. Мне директриса строго-настрого запретила за ней идти.

— Молодцы мальчишки, — сказала Ритка. — Маргарита бы гордилась ими!

— Сто процентов, — согласились мы и отправились провожать друг друга, всю дорогу вспоминая Маргариту.

Расставание с Маргаритой было тяжким. Мы бесконечно прощались, подолгу топчась то в коридоре, то на лестничной клетке, и в конце концов просто разревелись. Мальчишки стояли, опустив голову и загнав эмоции вовнутрь.

— Что делать будем? — спросила Феля, когда мы вышли на улицу.

Имелась в виду, конечно же, Грета.

Стали думать.

— Бойкот, — наконец предложила я.

— Бойкот, — многократно прозвучало со всех сторон.

На следующий день Грета появилась в классе как ни в чем не бывало с журналом под мышкой и бодро поприветствовала нас. Никто не поднялся для ответного приветствия. Она остановилась в изумлении и, глядя поверх очков, повторила приветствие на немецком. Класс безмолвствовал.

— Что, за лето разучились, как приветствовать на немецком? — попыталась разрядить атмосферу Грета. Шутка не удалась. — А я слышала, что Маргарита Петровна была блестящим преподавателем, — сделала вторую попытку Грета.

Это был удар ниже пояса. За Маргариту мы могли порвать кого угодно, но у нас был железный уговор не поддаваться на провокации. Никто не шевельнулся.

— Ну что ж, — сказала Грета, усаживаясь за стол и открывая журнал. — Проверим, как вы справились с домашним заданием.

Мы с замиранием сердца ждали, кого она вызовет первым. Понимая, что двоечникам терять нечего, Грета приступила сразу к отличникам, которые шли на золотую медаль.

— Мороз, — вызвала она нашу круглую отличницу.

Я так и предполагала. Это был единственный шанс сломать бойкот. Поэтому я предусмотрительно договорилась с Дашей и Янкой, чтобы они остались дома примерно на неделю. Больше Грета не выдержит.

— Мороз! — повторила Грета, оглядывая класс. — Где Мороз?

Увидев, что Мороз отсутствует, она взглянула в журнал и сказала:

— Ну что ж, тогда Гаусс.

Янкино место было тоже пусто. То ли Грета заподозрила, что это не случайно, то ли что, но на этом ее выдержка закончилась. Она стала вызывать всех по списку в алфавитном порядке. Каждый поднимался и молча стоял, не отвечая на вопросы. За ним поднимался второй, третий, четвертый... Никто не садился, и лес продолжал расти. Поначалу Грета попыталась пригрозить двойкой молчунам, но когда их количество сравнялось с количеством присутствовавших, эта угроза оказалась недейственной. Не мог же весь класс получить двойки! Если бы она привела угрозу в исполнение, то стала бы следующим кандидатом на двойку, только уже от директрисы.

Мы простояли так до конца урока. Педантичная Грета дождалась звонка и только после этого покинула класс. На следующий день она приказала всем остаться на собрание, но никто и ухом не повел. Не пришли не только на собрание, но и на ее урок. Это привело к тому, что о бойкоте прослышала директриса, чего Грета опасалась больше всего.

На третий день бойкота на урок заявила директриса. Мы встали, приветствуя ее.

— Садитесь, — немного в замешательстве сказала она.

Мы сели.

— Тихо у вас тут. Это что, новая форма изучения языка?

Зелинский кивнул.

— Да. Есть обучение во сне, а у нас обучение в тишине. Экспериментальная группа...

Все захихикали. Грета оскорбленно вышла из класса.

— Хватит! — рассвирепела директриса. — Шутить будете на перемене. Значит так. Я понимаю, что вы недовольны решением уволить Маргариту Петровну досрочно.

Все закивали.

— Но это не повод для бойкота. Вы что ж теперь каждого нового учителя бойкотировать будете?

— Нет, только этого, — сказала я.

— Ты зачинщица?

— Решение было общим, — вступилась Ритка.

— Все ясно. Обе получили удовлетворительное поведение в аттестате. А теперь послушайте, что я вам скажу. Решение об увольнении принимала я, так что можете меня бойкотировать вместо Греты Самойловны.

— Нет, не будем, — сказал Сокол.

— Это почему же?

— Идея исходила не от вас. От вас — только решение.

— Ну и что?

— А то, что вот вы же не ставите всем нам уд за поведение в аттестате? Не ставите, хоть мы принимали решение все вместе. Вы наказываете только тех, кому, по вашему мнению, пришла идея бойкота.

У Сокола была железная логика.

— А что, разве идея была не их? — не зная, что ответить, спросила директриса.

— Только моя. Ритка ни при чем, — ответила я.

— Ну хорошо... Чего вы хотите? Другую учительницу?

Все закивали.

— Бойкотировать не станете?

Все отрицательно замотали головой.

— Ладно. С завтрашнего дня у вас будут Светлана Андреевна и Анна Андреевна. А классным руководителем назначу Юлия Самуиловича. Он же будет преподавать у вас физику вместо Любви Сергеевны. Все. Сбор закончен. Можете расходиться по домам.

На следующий день Анна Андреевна вошла в нашу группу, как входят в клетку тигра неопытные дрессировщики. Мы пытались ее расслабить, но она смотрела на нас стальным взглядом и упорно не шла на контакт.

— А казалась такой милой! — с удивлением произнесла Феля, когда урок закончился.

— Гестаповка! — фыркнула Курица.

Эта кличка навсегда закрепилась за тихой Анной Андреевной.

Все это пронеслось в памяти, пока Лидия Филипповна поведала нам о болезни Греты. Тем временем Лидия Филипповна мягко подошла к сути дела.

— Мы с Галиной Николаевной все никак не можем забыть вашего показательного урока у Сусанны Ивановны. Вот я и подумала... А что если повторить его для Греты Самойловны? Она там совсем одна днем... Как бы она обрадовалась, увидев вас! — Лидия Филипповна выжидательно посмотрела на нас.

Только тут до нас дошло, что нам предлагается форма перемирия с тяжелобольной и, возможно, умирающей учительницей.

— Когда к ней можно прийти? — спросила я.

Лидия Филипповна просияла.

— Завтра. Пойдите к ней завтра. Мы с Галиной Николаевной отпустим вас со своих уроков. Только... Квартира у нее маленькая, человек семь-десять, не больше...

На следующий день после четвертого урока мы, как и было условлено, отправились к Грете. Пошли всем классом, решив разделить на две группы, а по дороге купили большущий букет цветов.

— Для любимой учительницы, да? — пронизательно спросила торговка цветами и выбрала самый лучший букет. — Свеженькие, не подкрашенные, как у некоторых, — она покосилась на соседа восточной внешности, продававшего розы. — Всегда ко мне приходите. У вас и выпускные на носу. Знаю, у самой внучка в этом году заканчивает. С богом, — отсчитав сдачу, сказала она напоследок.

Шли с камнем на сердце. Цветы были шикарны, но в них крылся траурный смысл, которым мы их наделили, не сговариваясь. И предназначены они были вовсе не для любимой учительницы — от того, что Грета была под секирой, отношение к ней не изменилось.

Грета жила в пятиэтажке неподалеку. Мы поднялись на третий этаж и позвонили в дверь.

— Входите, входите, дверь не заперта, — послышалось из комнат.

Часть из нас осталась на лестничной клетке, а оставшаяся гуськом прошла через малюсенькую прихожую в гостиную.

Гостиная напоминала коробку, заполненную так, что пространства для гостей почти не оставалось. Половину ее занимала разложенная софа, напротив которой стояли стол со стульями и телевизор.

— Проходите, — повторила Грета.

Мы едва разглядели ее на постели. В школе она была у всех на виду, а здесь просто потерялась в простынях и подушках.

— Здравствуйте, как же я рада, что вы пришли, — сказала Грета совсем домашним, новым для нас тоном.

Всю дорогу к ней мы пытались понять, как же показать ей наш последний урок, предназначенный вовсе не для ее глаз. Для нее бы мы сделали что-то формальное, типа того, что сделал «А» класс, или что-то на немецком, а если и на русском, то уж точно не о любви. Грета и любовь были для нас две вещи несовместные. Мы абсолютно не ожидали, что сухая немка преобразится в жену, мать и бабушку...

На стене висели портреты ее семьи, и мы стали разглядывать их, пытаясь определить, кто кому приходится. Грета заметила наш интерес.

— Это мои родители, — пояснила она, указывая на крайнее фото слева. — А справа от них — родители мужа. Их расстреляли в Бабьем Яре вместе с его младшими братьями. А он был на фронте в это время. Моих расстреляли под Одессой, а меня укрыли соседи... А на столе фотографии наших детей и внуков. — Она улыбнулась.

— Расстреляли... Вот сволочи! — рубанула Фея. — И как же это вы смогли их язык учить после всего?

— После всего и решила учить... Думала, что еще сумею пригодиться родине и отомстить...

— Тяжело, наверное, такое на сердце держать, — вздохнула Ольга.

— Поначалу невыносимо было, это правда.

— А потом? — спросила Ритка.

— А потом... Потом любовь, девочки. Она раны залечивает. Мы с Исааком Аркадьевичем как встретились, так до сих пор неразлучны, — сказала она как-то даже застенчиво.

Это все, что требовалось. Слова Греты подействовали как катализатор, и мы взлетели на этой волне, проведя урок на одном дыхании. Это был совершенно другой урок — урок, в котором любовь побеждала войну, потери и смерть. В котором из романтического чувства она вырастала в самое главное жизненное начало, в средоточие веры и оплот надежд.

Участники менялись местами с теми, кто ожидал своей очереди на лестничной клетке, и это превращало движение в бесконечный конвейер, направленный к вершине — монологу Джульетты.

В окружении портретов убитых родственников Греты «Что в имени?» неожиданно прозвучало как прозрение человека перед стихией бесчеловечности, породившей Бабий Яр и другие ужасы войны с ее расправами над теми, чье имя вносилось в черный список. Монолог стал той нотой, на которой разговор устремлялся в сферу наивысшей гуманности.

— Спасибо, — после продолжительной паузы сказала Грета. — Спасибо...

— И вам спасибо, — заговорили мы наперебой. — Простите нас, простите. Мы не хотели... Мы не думали, что...

Грета подняла руку.

— Подождите. Я должна вам сказать... Я должна вам сказать. Вы вступились за учительницу, которую любили. Правильно, наверно, вступились. Я действовала с точки зрения учебного процесса. Вы действовали с точки зрения любви. Вы не предали ее. Не забыли. Не выбросили из сердца. Оставайтесь такими. Не предавайте тех, кого любите...

Мальчишки внесли букет роз, который вдвое увеличился в миниатюрном пространстве гостиной. Грета всплеснула руками.

— Красота какая... А у меня даже вазы такой нет... Ребята, там в кухне высокая кастрюля на полке. Налейте воды и поставьте цветы.

Когда все было готово, мы поставили цветы в кастрюле на стол перед Гретой.

— Поправляйтесь, — пожелали мы ей нестройным хором.

— Вы ведь поправитесь, правда? — спросила Курица, у которой глаза были на мокром месте.

— Обязательно. Летом оздоровлюсь, а с осени уже буду преподавать, — заверила ее Грета.

Курица издала вздох облегчения и порывисто обняла Грету, чуть ли не запрыгнув на софу.

— Курица, ты поосторожней там! Человек все-таки после операции, — одернула ее Ритка.

— Ничего, ничего, — сказала Грета, счастливо похлопывая Курицу по спине. — Все будет хорошо.

Мы вышли от Греты. Светило яркое солнце. Мы и не подозревали, что так распогодилось. Квартира Греты выходила на теньевую сторону, и нам казалось, что утренняя пасмурность не рассеялась. Несколько кварталов мы прошли, переваривая впечатления и жмурясь от солнца.

— Ну что, куда теперь? — спросил Сокол, когда мы дошли до школы.

— Может, на пляж? — предложил Кучер, поглядывая на Ройтманшу.

— Вода еще холодная, — возразила Кошелева.

— Лизок, так мы ж не купаться, — усмехнулся Зелинский. — Ни плавок, ни купальников у нас все равно нет. Пойдем побродим по песку, море послушаем...

И мы отправились к морю.

ЭКЗАМЕН ПО ФИЗИКЕ

Неженатый энергичный зеленоглазый Юлий Самуилович покорял сердца не только старшеклассниц. По общим наблюдениям, к нему в подсобку захаживала молодая математичка Лялечка, немного задерживаясь. Сам Юлий Самуилович ничем таким не интересовался. Его светлая голова была набита формулами нешкольного формата. Ходили слухи, что ему препятствовали в получении места в институте, и он временно устроился в нашу элитарную школу. Представьте себе эту жизнь ученого от Бога, ко-

торый вместо того, чтобы заниматься научной работой, вынужден был каждый день растолковывать беспроблескам типа меня азбучные истины!

Не то чтобы я не дружила с физикой. Физика как раз была мне интересна, и если бы Юлий Самуилович узнал, что мой будущий муж будет учиться на физфаке, он, наверное, нашел бы более оригинальный, чем в учебниках, способ раскрыть передо мной красоты таинственного мира физики. Но ЮС не знал формулы будущего и поэтому возложил это бремя на плечи моего грядущего мужа. Зато моя подруга Яна, влюбленная в водителя троллейбуса, без труда врубалась во все формулы. Она шла на золотую медаль и секла моментально все тонкости физики, химии и алгебры с геометрией.

ЮС был наглядным пособием по еврейскому счастью. Мало того, что он преподавал таким балбесам, как половина нашего класса, так еще его назначили нашим классным руководителем. Это случилось после скандала с нашей бывшей классной, которой мы объявили бойкот.

ЮСу некуда было деваться. Ему нужно было отработать в школе и получить хорошую характеристику, чтобы устроиться в институт. Мы его жалели всем сердцем, но идти против себя не могли. Мы не могли притворяться, что очарованы его физикой, чтобы он, не дай бог, не поверил и не утроил свой энтузиазм. Нет, ЮС не должен был смотреть на жизнь сквозь розовые очки. Он должен был идти к своей цели и добивать ее ежедневно.

На уроке физики в десятом классе я стояла в углу, потому что мой скучающий вид отвлекал некоторых одноклассников, которые то и дело пытались меня подбодрить словом, мимикой или жестом. Юлия Самуиловича это бесило. Он не мог понять, что, кроме физики, есть еще и дружба, и братская поддержка, и много всего другого, чему мы пытались его научить перед его вступлением в большую жизнь.

ЮС понимал наши старания превратно. Ох, лучше бы он вообще не обращал на меня внимания и расписывал бы доску своими формулами до звонка, стоя спиной к классу. Но нет! Он ставил меня в угол, а наказанным был сам. Как только я оказывалась в углу, даже тот, кто не отвлекался, начинал периодически поворачивать туда голову. Я стояла тихо, смиренно, как кающаяся грешница, и выдержать этого зрелища не мог даже ЮС. Однажды во время очередного стояния в класс вошла директриса по какому-то вопросу. На обратном пути она вдруг узрела меня, ученицу с довольной приличной репутацией.

— Что ты там делаешь? — спросила она, подняв брови.

— Стою. Наказана, — смиренно отвечала я.

— За что?

— За плохое поведение, — так же смиренно призналась я.

Она обернулась к Юлию Самуиловичу.

— Юлий Самуилович, посадите ее на место, она хорошая ученица, больше не будет, — и тихо прибавила: — Вы что, в самом деле...

— Нет, ну вы только посмотрите на этого ангела! — взревел Юлий Самуилович, когда за директрисой закрылась дверь. — Марш на место, и чтобы я тебя больше не слышал!

Я хотела было напомнить ему, что он меня и так не слышал и лучше бы сказал: «Чтобы я тебя не видел!», но огорчать его не хотелось.

Я промаршировала на место. Больше тройки мне все равно не светило в году и в аттестате. Это была бы единственная тройка, и дома все с этим смирились, учитывая, что я собиралась поступать на филфак.

Так мы дошли до выпускного экзамена. Моей главной задачей было не схлопотать двойку, поэтому я попросила Янку приходить ко мне домой, чтобы готовиться вместе.

Подготовка заключалась в том, что Янка проходила со мной весь материал, каждый раз завершая очередную тему кратким «ну так, здесь все ясно», и шла дальше. Потом мы крались в кабинет отца, если он был на дежурстве, тибрили у него из ящика «Kent» и тайно раскуривали сигареты на балконе. Эту часть я любила больше всего.

За день до экзамена Янка на всякий пожарный сделала себе шпоры и попросила мою маму сшить потайные кармашки под фартуком. Если уж Янка делала шпоры, то мне сам бог велел. С моей стороны было бы просто наглостью явиться с нулем в голове и под фартуком. Мама и мне сшила такие же кармашки. Хотя шпорами я никогда в жизни не пользовалась и пользоваться не собиралась — все тайное у меня сразу же становилось явным.

Наутро перед экзаменом мама отварила нам яйца вкрутую и подала их под майонезом, что привело Янку в полнейший восторг. Такое блюдо она ела впервые в жизни.

Когда мы пришли в школу, нас ждало известие почти по Гоголю. Приехал проверяющий из Киева и, просмотрев журнал, пожелал прослушать в нашей группе Янку, Дашу — наших двух потенциальных золотых медалисток — и... меня!

Когда моя фамилия была названа, Юлий Самуилович побледнел. Он понял, что под него копают и работы в институте ему не видать.

Нас вызвали к столу, где были разложены билеты. Первой тащила Янка. Билет явно был хорошим, и она с веселым видом отправилась готовиться. Даша тянула следующей, и ничто не дрогнуло в ее лице, когда она направлялась к парте. Я тянула билет после них. Или мне показалось, или впрямь тень от ручки Любви Сергеевны, преподающей физику в «А» классе, упала на один из билетиков, но я не оставила это без внимания. И — о чудо! — мне достался билет, о котором никто не мог и помечтать. Он словно был написан для меня. Первый вопрос был о линии партии в науке, второй — о третьем законе Ньютона. А задачка вообще была плевой. Она состояла всего из одной формулы.

Первой вызвали Янку. Даже сейчас все сжимается внутри, когда я вспоминаю это приглашение на казнь. Не успела Янка и рта раскрыть, как проверяющий стал ее обрывать, задавать какие-то каверзные вопросы, на которые Янка отвечала до поры до времени, а потом окончательно сбилась. Ее валили, это было ясно. И почему, тоже было ясно. Не могут два человека в одном классе получить золотую медаль, тем более если один из них с такой фамилией, как у Янки. Если бы Янка была хоть с одной четверкой, ее бы даже и не вызвали. А тут... К решению задачи проверяющий все-таки придраться не смог, и это спасло Янку от переэкзаменовки.

На Юлии Самуиловиче лица не было. А экзекуция продолжалась. Вместо того чтобы вызвать Дашу, проверяющий пожелал, чтобы отвечать пошла я.

— Ты готова? — пыталась подсказать мне выход из положения Любовь Сергеевна.

Но проверяющий, просияв лицом, заверил ее:

— Ну конечно, готова.

Я поднялась на эшафот — стол с экзаменаторами и доска находились на возвышении — и с энтузиазмом стала рассказывать о роли партии и правительства в развитии физики, о задачах, которые сочиняла на ходу, о пагубной капиталистической системе и роли физики в спасении мира от буржуазной агрессии. Проверяющий, сложив ладони, словно в молитвенном экстазе, не прекращая, кивал головой. Плавню я перешла ко второму вопросу и устроила из этого целое представление, вызывая к воображению слушателей.

— Представим себе, что у нас есть некая замкнутая система, состоящая из двух материальных объектов, — говорила я, уносясь в мир физических величин.

На задачку проверяющий даже не взглянул.

— Садитесь, достаточно, — вдохновенно сказал он и, словно позабыв о Даше, ожидавшей своей очереди, удалился с Юлием Самуиловичем в его подсобку, где они пробыли несколько затянувшихся минут. Когда оба вышли, лицо у Юлия Самуиловича было пунцовее Янкиного. Проверяющий улыбался. Он быстро попрощался со всеми и ускакал по другим делам.

— Ну и ну, — пробормотал Юлий Самуилович, когда дверь за ним захлопнулась. Затем, повернувшись ко мне: — Он потребовал поставить тебе пятерку.

Класс ахнул. Любовь Сергеевна еле подавила усмешку.

— Ну ты сама-то понимаешь, что это было бы наглостью поставить тебе «пять» в аттестате?

Вопрос бы риторическим.

— Давай так. Оценку свыше я оспаривать не могу. Но в году я поставлю тебе «четыре», и то же будет в аттестате. — Он покачал головой. — Посмотри, ты даже в такой простейшей формуле умудрилась сделать ошибку! — он подошел к доске и ткнул пальцем в формулу, которую я нарисовала.

Да, я ошиблась. Только в данном случае главным было не это, а то, что ошибку не заметили свыше. ЮС это понимал.

Проверяющий сразу после их разговора побежал к директрисе и объявил ей благодарность за отличную работу. Она в свою очередь исправила мое поведение в аттестате с удовлетворительного на хорошее. На примерное я все-таки не тянула.

После визита проверяющего учителя стали оставлять меня до конца каждого экзамена на случай, если заявится еще какой-нибудь ревизор. Я приходила рано утром и уходила с последним учеником. Мои родители были предупреждены, меня кормили, баловали сладостями или домашней выпечкой (одесские женщины этим славились!), а в конце дня отпускали домой с пятеркой, даже не спрашивая.

На выпускном Юлий Самуилович, расчувствовавшись, признался моему отцу, что я практически спасла его от строгача, а может, даже и от увольнения.

Янке, увы, аттестат подпортили, и она уже не шла как золотая медалистка.

ВЫПУСКНОЙ

Подготовка к выпускному вдохновляла чрезвычайно. Когда нам сообщили, что торжественный вечер будет проводиться во Дворце студентов, ликованию не было конца. Наконец-то! Наконец-то мы почувствуем себя самостоятельными людьми, наконец-то с нас снимут статус школьников, и наконец-то наши предки поймут, что на этом их опека заканчивается и дальше мы сами.

Само название места несло в себе волшебный посыл — дворец, да еще и студентов! То есть перешагнули черту, а за ней целый дворец с новой жизнью. Не школьной — студенческой! Какая она?

Спешно покупались костюмы и платья, продумывались прически. Мама взяла меня тайком от отца на Толчок, чтобы купить туфли. В первый раз за всю жизнь в Одессе. О Толчке я только была наслышана. Не от мамы, которая тоже там никогда не была, а от ее знакомых, приносивших иногда шмотки на продажу на фабрику, где она работала. Отец был категорически против такого гардероба и, однажды когда мама показала ему одну вещицу, которую хотела бы купить, запротестовал довольно серьезно, сказав, чтоб она не смела иметь дело со спекулянтами. Мама тогда на него сурово разобиделась, но вещь вернула во избежание скандала. Поэтому договорено было отцу не рассказывать про Толчок, а поехать туда тайно, когда он будет на дежурстве.

Платье мама пошила сама, набрав белую ткань и согласовав со мной фасон, а вот туфель нарядных было не сыскать днем с огнем.

И вот с раннего утра мы сели с мамой в автобус и отправились на Толчок в сопровождении папиной сестры, которая знала в этом толк.

Толчок представлялся мне верхом шика, местом обитания одесской элиты, что-то наподобие дворца, только не студентов. А как же иначе! Там ведь была самая известная нелегальная распродажа заграничных изделий, выполненных с фантазией и блеском (иногда в подпольных одесских мастерских, где пришивали иностранные лейбы)! Если унылые отечественные вещи висели в таких грандиозных архитектурных сооружениях, как Пассаж и универмаг, то каков же должен был быть Толчок!

— Одевайтесь попроще, во что-то удобное, — предупредила нас накануне папина сестра.

Это немного насторожило, но я на всякий случай подкрасила ресницы, а мама — губы.

В пять утра мы стояли на автобусной остановке в толпе жаждущих.

— Когда подойдет автобус, втискивайтесь, — давала нам инструкции папина сестра. — Иначе приедем к шапочному разбору.

Автобус, который вместил бы эту толпищу, представить себе было сложно. Но лучше один раз увидеть, чем много раз представить.

К тому времени, когда автобус должен был подойти, толпа выросла вдвое, и пришедшие напирала на тех, кто стоял впереди.

Наконец на горизонте появился автобус, началось волнение баллов на девять. Не требовалось особого глазомера, чтобы определить, что на всех «местов» не хватит, даже если будут стоять на одной ножке.

Автобус протянул, забавляясь, как толпа напирала на бордюр, чтобы взять штурмом переднюю дверь. Как только водитель затормозил, стоявшие сзади надавили на счастливых на переднем фронте, и двери под натиском открылись практически без помощи водителя. Дальнейшее невозможно было ни описать, ни запомнить.

Оказавшись в автобусе, я не могла даже повернуть головы, чтобы увидеть своих. С разных концов выкрикивались имена. Это была перекличка, о которой успела проинструктировать нас папина сестра.

— Значит так, — говорила она. — Слушайте меня внимательно и делайте все, как велю. Повторяю: впихивайтесь в автобус, никого не ждите и не высматривайте друг друга. Потом все будут окликать друг друга по имени, и нужно сразу ответить. Ясно?

Все прошло по инструктажу. Раздалось и мое имя. Я крикнула, что здесь, и автобус двинулся без остановок к месту назначения.

Выходить оказалось куда проще. И главное — приятнее.

— Не задерживайтесь, прозевааете хороший товар, — подгоняла нас папина сестра.

Толпа торопливо направлялась к месту продажи. Более шустрые бежали, менее — расталкивали других. У мамы был слегка ошарашенный вид.

Я следовала за своими и все пыталась узреть издали павильон.

Павильон не появлялся.

— А мы туда идем? — усомнилась я.

— Туда, туда. Видишь, куда все идут? Туда и нам.

Мы вышли на поле, где на каких-то кривых прилавках, складных стульях или прямо на земле был разложен товар. Товаров была тьма-тьмуша. Павильона не было и в помине.

— Какой еще павильон? — ответила вопросом на вопрос моя тетка. — Идем скорее, хорошую обувь быстро разбирают.

Мы стали лавировать между прилавками и товаром, разложенным на газетах и стульях. Мама заприметила что-то интересное и потянула нас туда.

— Ты что! Это самопал, — одернула ее папина сестра.
— Какой еще самопал! — заорала продавщица белых босоножек. — Иди сюда. Это фирменная вещь!

Но мы уже укрылись за спинами идущих.

— Что ищете? — спросил нас, шныряя глазками, какой-то штымп.

— Идите себе, сами найдем, — на ходу отшила его папина сестра, крепко держа сумку впереди себя.

— Девушка, эй, девушка! — послышалось из левого ряда. — Вам туфли на выпускной не нужны?

Мы синхронно повернули головы и увидели то, что искали. Черно-белые лаковые туфли на каблучке. Немедленно свернув к туфлям, мы через минуту уже вертели их в руках. По-видимому, мы были первыми, потому что как только я стала мерить туфли, начали подбегать еще какие-то люди.

— Почем туфли? — выкрикнула боевая тетка позади нас.

— Женщина, мы первые, — отшила ее папина сестра.

Тем временем я надела второй туфель. Все оказалось впору.

— Не жмет? — спросила мама.

— Нет.

— Сколько? — выпалила папина сестра.

Женщина назвала сумму. Вполне приемлемую.

— Берем, — не раздумывая, сказала папина сестра. И тут же вытащила деньги.

Женщина ловко завернула туфли и дала сдачу.

— Спасибо, — сказала я.

— Носи на здоровье, деточка! У меня внучка тоже в этом году заканчивает. Отец привез ей несколько пар. Эти малы оказались. Ножка у нее побольше твоей будет.

До автобусной остановки мы дошли за пару минут и назад ехали в полупустом автобусе.

— Рано вы с Толчка ушли, — сказал водитель, закрывая двери.

— Да, быстро обернулись на сей раз, — ответила мама, делая вид, что она одна из постоянных посетителей Толчка.

Папа про туфли, конечно, все понял. Но поскольку я примерила их в присутствии его сестры, которая взяла огонь на себя, нам с мамой это сошло с рук.

— Ты пойми, — объясняла мама ему вечером, — это выпускной. Обувь нигде нет. Почему наша дочь должна выглядеть хуже других?

Папа отмалчивался, но мой счастливый вид смягчил его сердце.

И вот наступил долгожданный день. В сопровождении родителей я отправилась во Дворец студентов.

По мере приближения к величественному зданию, некогда бывшему банком, а позже ставшему клубом имени Дзержинского для работников ОГПУ—НКВД, настроение падало, как температура на градуснике. Только теперь со всей очевидностью открылось непреложное: вот и сказке конец. В голове проносились неуместные мысли, отравляющие праздник. И зачем только администрация сняла это здание? Почему нам не дали возможность в последний раз подняться по ступеням школы, пройти из вестибюля на второй этаж, где находился актовый зал, посидеть в нашем классе, попрощаться с партией, со всем, что дорого? Почему отняли эти драгоценные моменты? Почему не дали нашей школе увидеть, как нам вручают аттестаты, услышать, как мы благодарны ей, как будем вспоминать ее и как нам будет ее не хватать?

Нарядные выпускники шли непрерывным потоком в сопровождении родителей на церемонию вручения аттестатов. В вестибюле звучала музыка. Большой полутемный

зал с освещенной сценой запросто вмещал всех пришедших на торжество. Казалось бы, время ликовать... Но нет!

Узрев Ритку, я направилась к ней, оставив родителей в той части зала, которая была отведена для них.

— Привет...

— Привет...

Мы поняли друг друга с полуслова.

На сцене уже выстраивался «А» класс, красовалась Неточка в белом кукольном наряде с оборками. Красный цветок в ее пшеничных волосах приковывал взоры. «Ашки» были возбуждены. Им были заготовлены похвальные слова учителей, и родители их с нетерпением ждали, когда все начнется. Наши тоже ждали, и в глазах многих была грусть. Наши родители думали о прошлом, а родители «ашек» — о будущем, которое было по-хозяйски заготовлено ими. На родителей «вэшек» никто не обращал внимания. Они просто рассеялись в дымке от прожекторов.

Впоследствии я спрашивала Ритку, что она запомнила об этом выпускном. Оказалось, что почти ничего, кроме рассвета, который мы встречали на море. А я и того не помнила, кроме отрывочных деталей, например, как мы шли по сумеречному берегу, каждый сам по себе, будто нас ничего уже не связывало. И солнце поднималось из вод, алое, как знамение, только усиливая ощущение конца.

Возвращались мы, когда утро уже вступило в свои права, звенели первые трамваи, но улицы были еще пусты. Рядом шел Сабоня. На выпускной он явился со своей мамой, которую пригласил на танец после вручения аттестата, а потом посадил в такси. Это запомнилось. И еще танец Неточки с ее будущим мужем и Игоря с брошенной на рассвете Сонечкой.

Мы шли с Сабоней по Черноморке на дачу, которую сняла Курицына бабушка, не сказав все то, что только можно было не сказать. Оставшиеся оторвались от нас на деликатное расстояние, только это ничего не меняло. Сказать действительно было нечего. Сабоня еще появится в моей жизни, как Фащ появится в жизни Ритки, но это уже не будет иметь ничего общего со школой. Школа открывает двери на время, а закрывает — навсегда. В нее нельзя войти дважды, как в ту реку. Даже в качестве учителя. Помню, как-то в восьмом классе Сусанин привел к нам свою ученицу, только что окончившую педин с отличием, и она рассказывала нам, что подала туда документы только потому, что мечтала снова вернуться в нашу школу. Мечта сбылась. Ее с радостью взяли учительницей младших классов. Однажды после окончания школы я встретила ее. Мы обменялись вопросами и ответами, и на прощание я спросила, по-прежнему ли она счастлива, что работает в нашей школе.

Она улыбнулась.

— Очень. Как счастлив режиссер, когда ставит продолжение любимого фильма.

— Режиссер?

— Да. Когда мы учимся в школе, мы участники этого фильма, а когда учим — почти что режиссеры. Хороший режиссер ведь проживает все то, что чувствуют участники...

На даче у Курицы все еще спали. Мы смыли песок с ног и тоже отправились спать.

ОКНО

Когда тьма накроет Город и у будущего останется только прошлое, когда пожухнут виноградные лозы и дворы превратятся в слепцов, когда пепел будет витать в воздухе, оседая на ступенях домов и осыпаясь буквами с газет, где об этом ни слова, когда море выплеснется магмой на берег и алые паруса пожарищ полыхнут по истории,

когда жизнь забьется в раковины домов, мы придем сюда, в этот школьный двор, где двери будут заперты, а окна черны, все, кроме одного — нашего. Мы придем сюда, где бы мы ни были, и будем ждать тех, кто еще в пути. Нас будет в десять раз больше, потому что каждый год в школе — это отдельная жизнь. Мы придем сюда со всеми своими жизнями, как приходят родители с детьми, и окно встретит нас тем особым светом, который проявляется лишь годы спустя.

Первым возникнет Колька — неуклюжий первоклассник, историк и самбист, пианист и гений. Следом за ним Парибон, который спился и умер от белой горячки несколько лет спустя после Колькиной смерти. Он все-таки сумел тогда помочь нескольким старикам. Затем появится Чебурек, безответно влюбленный в Прыткову. Его подрезали в драке, и никто, даже его отец, работавший хирургом, не смог помочь.

Краснощекая Янка нагрянет из своих прекрасных далей — Земли обетованной, куда она сама же и отвезет своего водителя троллейбуса. Она по-прежнему будет выглядеть как круглая отличница, и та червивая тройка по физике на ней нисколько не отразится. Главное — жизнь прожить с отличием, а в этом Янка преуспеет, потому что нет выше мечты, чем любовь, и нет выше поступка, чем умение пронести ее через всю жизнь.

Фащ дождется Ритки и выйдет из своего укрытия, когда она появится, но будет стоять поодаль, как и на фото, где он надул губы, обиженный, наверное, на то, что его не поставили рядом с ней. Ритка никогда не уйдет из его жизни, и однажды он разыщет ее, когда она уже будет замужем. Он нагрянет к ней неожиданно. Поначалу она даже растеряется, а потом пригласит его на кухню, заварит крепкий кофе, и они будут вспоминать истории из школьной жизни, пока не придет с работы ее муж. На этой ноте они и расстанутся. Знал бы Фащ, что всего лишь несколько лет спустя Ритка разведется и уедет в Бостон, он бы, наверное, ни за что не ограничился этим визитом. Но ему не дано будет это знать, и он отправится своим курсом, а Ритка — своим, выйдя вторично замуж за человека, так напоминающего внешне ее первого мужа, что, когда тот приедет со своей второй женой погостить в Штаты из Германии, мы упорно будем путать их имена. Со второй женой Риткиного первого мужа нам будет куда проще в плане имени — ее тоже будут звать Ритой...

Феля прискачет следом за Янкой, с которой они сидели за одной партой на уроках немецкого, и будет шнырять своими плутовскими глазками, выискивая остальных. Мень Феля разыщет уже в Штатах и накачает мне такое письмо, после которого я ринусь к ней навзрыд из своей Филадельфии и вызову Ритку, которая моментально купит билет из Бостона. Вот это будет воссоединение! Даже Янку по скайпу вызовем и узнаем от нее о Соколе, здравствующем в той же Земле обетованной.

Прыткова приземлится возле Чебурека, как на той фотографии, снятой первого сентября. Фотограф сам расставлял нас, но он останется за кадром, как и положено фотографу. О нем никто никогда не вспомнит. Ни как он выглядел, ни что говорил. Ох уж этот невидимый фотограф! Его присутствие можно будет распознать только по расположению учеников на фото. Но фотограф фотографом, а свобода выбора останется за нами.

На выпускном фото мы уже сами будем решать, кому с кем стоять. Мы с Риткой будем вместе. Рядом, с моей стороны, пристроится Сабоня, но смотреться будет чужеродным элементом. Зелинский возьмет под руку Кошелеву, а Чебурек с Прытковой, наоборот, будут порознь: Прыткова не захочет фотографироваться и будет стоять поодаль, а Чебурек запечатлется с Соколом на первом плане, со спичкой в руке, разглядывающим, как догорает какой-то клочок бумаги на асфальте. Тогда казалось, что он просто свалил дурака, испортил последнее фото, и только спустя годы проступит грустный смысл, который он вложил в эту сожженную бумажку.

Рядом с фотографом, в его невидимом пространстве, выстроятся родители. Они будут мешать фотографу, пытаясь выдвинуть своих детей на первый план, но фотограф не прислушается к их пожеланиям, и им останется только стоять и смотреть на нас, а нам — на них, живых и целехоньких, полных планов и надежд.

Риткина мама явится в орденах и медалях, выделяясь среди молодых мам и выходящая скорее как Риткина бабушка. Она ни на минуту не усомнится в том, что Ритка станет такой же прилежной ученицей, как Жанночка, ее старшая дочь. Вскоре, однако, надежды Ганны Давыдовны рухнут, и она скажет, что эти школьные годы — ее вырванные годы... Гордость за Ритку придет уже в Бостоне, когда Ритка блестяще окончит медицинский колледж и пойдет по стопам своего отца. Однажды тетя Ганна позвонит мне 9 мая, хотя обычно на этот праздник звонила всегда я, и станет рассказывать, как она гордится Риткой, как восхищена всем, чего ее младшая дочь добилась, как ошибалась в ней и как высоко ценит нашу дружбу. В тот день будет говорить она, а я буду слушать, не перебивая и понимая, что однажды должна буду все это передать Ритке... Через полгода ее не станет, и я слово в слово передам Ритке все это плюс то, что было адресовано только ее слуху.

Тетя Ганна умрет почти в тот же месяц и почти того же числа, что пришел на свет мой отец, и близость этих дат потрясет нас с Риткой, с которой мы родились с разницей в один день. С тех пор мы всегда будем ощущать наших родителей несущими вахту вместе в том невидимом пространстве, как отголоски войны и чуда, стойкости и веры, генетическая память города.

Последней придет Ольга с изумленными глазами и тут же воссоединится с собой-первоклассницей. На той фотографии у нее такое просветленное и безмятежное лицо, будто этот первый день в школе был самым волшебным днем в ее жизни. Ни один из нас не получился таким, как она. Скорее, нас всех объединяла какая-то грусть и даже тревога после расставания с любимыми воспитательницами и друзьями, и только Ольга выбивалась из общего ансамбля радостью, которую излучало все ее существо. Она вернется к той себе, и никто не упрекнет ее за желание побыть в наивысшей точке благоденствия, которое она испытала однажды.

Пусть пребывает в ней, насколько это возможно, и пусть не видит, как за спиной у нее стонет город, как разбирают мостовую на булыжники, как факелы людей мечутся в окнах, выбрасываясь на асфальт. А мы будем охранять ее, охранять это окно и этот свет, который сильнее пожарищ. Главное — не уйти.